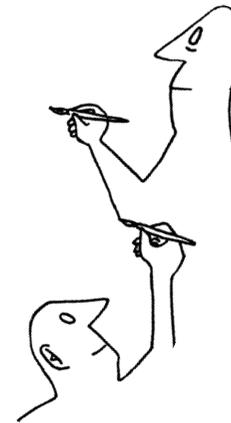


Александр Жолковский

ЭРОСИПЕД
и другие виньетки



Водолей Publishers
Москва 2003

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6
Ж79

Художник И. Сердюков
В оформлении использована работа С. Стейнберга

Мемуарные виньетки Жолковского по прочтении преобразуются в портрет автора. Этот портрет предстает в своего рода кубистическом стиле, в том смысле, что мы видим его в разных плоскостях: то как само-насмешника, то как симпатичного нарцисса, при одном срезе озорничающего стилиста прозы, при другом солидно-дерзновенного структуралиста и семиотика, с одного угла зрения завязанного богемщика, с другого поднатюрелого университетского профа, сеятеля р. д. в.

Впрочем, автор-герой до места в виньетках не жаден, напротив, тащит в них все разрастающуюся толпу персонажей жизни: здесь и друзья-филологи высшего класса, Щеглов, Мельчук, Иванов, здесь и сочинители разных жанров, Соколов, Лимонов, Аристотель, Пригов, «приближающийся к Пригову» Черчилль, удаляющийся Хемингуэй, рассаживающиеся в застольи Пастернак, Ахматова, Шкловский, а также множество американского академического народа.

Для кого написана эта книга? Для нашего брата, российской кочевой толпы интеллектуалов. И написана она одним из нас, всем нам известным «Аликом», таким же, как мы все, «Пнинным» различных, слегка уже перепутавшихся в автобиографиях кампусов, тем самым «Профессором З.», давно застолбившим свое место в российско-космополитической литературе.

Василий Аксенов

ISBN 5-902312-15-9

© А. Жолковский, 2003
© И. Сердюков,
оформление, 2003
© «Водолей Publishers»,
2003

Справка

... На ваш запрос сообщают, что мемуарные виньетки я начал писать в Москве более тридцати лет назад, без какой-либо мысли о публикации. Про себя я называл их «Мемуары». Они были не только источником непосредственного удовольствия, но и способом – в момент перехода от лингвистики к поэтике – «расписаться». Поэтика требовала внутреннего раскрепощения, и мемуарные упражнения помогали. Я вернулся к ним в конце 1990-х, пройдя длинный путь дискурсивной эмансипации: лингвистика – поэтика – постструктурализм – демифологизация – эссеистика – рассказы. Но целиком от «научности» не избавился.

Не только в том смысле, что некоторые виньетки напоминают литературоведческие эссе. Дело в напряжении между верностью правде (того, как было или, во всяком случае, как я помню, как было) и свободой ее презентации. Врать, преувеличивать, придумывать события нельзя, но что рассказать, а что нет, какую позу принять, – твое авторское право. Даже в журналистике требование документальности распространяется лишь на сообщаемые факты, позволяя репортеру вольности в обращении с собственной персоной как еще одним повествовательным приемом.

Авторский образ виньетиста, находящийся на опасном стыке «правды» и «свободы», – стержень жанра. Он присутствует в реминисцентной перспективе, в манере рассказывания (часто «научной») и в рассказываемых историях. На всех трех уровнях он проблематизируется. Мемуарист предстает неуверенным в фактах, повествователь – амбивалентным в оценках, а герой ставится под удар как фабульно, так и экзистенциально, оказываясь не только свидетелем и жертвой событий, но и их соучастником-совинновником. При сочинении постыдных фактов не допускается, но их и так хватает. Главное мемуарное правило – не забыть на себя оборотиться.

Не всякий вспомнившийся эпизод, любопытный исторически, этнографически или автобиографически (и забавный в устном варианте), представляет законный материал для виньетки. Критериев отсеивания много, и я не берусь их сформулировать, но мне, как правило, более или менее ясно, есть ли в эпизоде что-то «мое», то есть, выражаясь нескромно, что-то, что именно мне стоит тревожиться описывать.

Кстати, о нескромности. В виньетках часто констатируют авторский «нарциссизм». Но авторство вещь вообще нескромная. Особенно нахальное занятие – мемуаристика, тем более – избранный мной кокетливый завиток этого жанра. Я действительно претендую не столько на протоколирование «фактов» (и тех намертво запомнившихся словечек, ради которых по большей части предпринимается рассказ), сколько на интересность собственного в них соучастия и их ретроспективного преподнесения. Последнее состоит, среди прочего, в словесной полировке, организации сюжетных рифм, отделке заголовков, реплик, концовок и т.

п. Тем самым происходит дальнейшее отстранение от «правды», которая всячески эстетизируется, нарциссизируется, виньетизируется.

Реваниш она берет в другом. Главную «правду» виньеток я полагаю в самой решимости написать их и написать так, как хочется. У меня есть знакомые, которые видели, помнят и могли бы рассказать гораздо больше и лучше, чем я. Могли бы, но не могут, во всяком случае, публично. Боятся. Боятся занять позицию – идейную, стилистическую, самопрезентационную. Иными словами, боятся авторства. Авторский имидж служит не только формальным приемом, но и той карикатурой, которая подпирает, в конечном счете, все здание, сама же держится мышечным усилием реального автора. Нужда в усилиях становится осязаемой, когда друзья вдруг единодушно ополчаются против какой-нибудь особенно рискованной виньетки, мотивируя это, разумеется, формальными соображениями («не в вашем стиле»).

Но не буду преувеличивать своего авторского героизма. Виньетки написаны не с последней прямотой (да и у Мандельштама она почему-то ассоциируется с противопоставлением шерри-бренди как бредней не менее сомнительным Мэри и коктейлям), а в условном жанре, задающем сложный баланс непосредственных впечатлений и ретроспективных оценок, фактографических констатаций и фигур речи, откровенностей и умолчаний. Умолчания, впрочем, не окончательны, или, если воспользоваться макабрическим англицизмом, не терминальны: заведен и пополняется файл, который я, с оглядкой на Ходжу Насреддина («за тридцать лет либо я, либо шах, либо ишак – кто-нибудь умрет»), про себя называю посмертным.

1



ДЕТСТВО,
ОТРОЧЕСТВО,
УНИВЕРСИТЕТЫ

Эросипед

Одним из устойчивых ранних впечатлений была фигура велосипедистки, пронесившейся по пустынным улицам послевоенной Москвы, в частности, в районе, где я жил. Это была стройная черноволосая девушка, одетая в соответствующий спортивный, вероятно, импортный костюм, с интеллигентным, несколько смуглым лицом и живыми глазами навывкате, как я теперь понимаю, еврейка (в лице которой, опять-таки задним числом, мне видится сходство с мамой). Я ни разу не молвил с ней ни слова, хотя потом мы пересекались в Доме Ученых и, кажется, в Консерватории. Я запомнил ее мчащейся по Кропоткинской (ныне опять Пречистенке) на своем полуночном велосипеде. Не знаю, почему, я решил, что она дочка академика, и даже мысленно определил, безо всяких к тому оснований, какого именно. Тут действовала скорее логика сна и мифообразования, нежели здравого смысла. Никакого продолжения у этого сюжета не было — он остался лишь общим прологом к дальнейшему.

В мою собственную жизнь велосипед вошел (если не считать трехколесного, видного на довоенных снимках) летом 1951 года, перед восьмым классом и четырнадцатилетием. С тех пор с ним было связано так много, что всю мою биографию легко представить в велосипедном разрезе. Я ездил на велосипеде по Москве и Подмосковию, из Москвы в Ярославль и обратно, по Вене, Амстер-

даму, Итаке, Нью-Йорку, Принстону, Монтерею, Лос-Анджелесу, вдоль Санта-Моникского залива, по одному островку в Бретани, на котором запрещен автомобильный транспорт, и снова по Москве. Ездил днем и ночью, по делам, на заседания, в магазины, ради спорта и в романических целях. Я падал на велосипеде с моста в воду, пару раз был сбит машиной, однажды в пьяном виде в новогоднюю ночь (1965-го года) поскользнулся на велосипеде на рыхлом снегу около Маяковки и сломал ключицу, а несколько лет назад в Москве упал с тяжелым грузом книг и повредил руку. Велосипеды у меня крали (как-то раз я и сам купил подозрительно дешевый, видимо, краденый, и его потом тоже уперли), они ломались, сменялись — русские, японские, европейские, американские, дорожные, спортивные, горные; не было, пожалуй, только тандема.

Дачная езда на велосипеде (синем, дорожном, марки ЗИС) ознаменовала некоторое мое повзросление, но должна была укладываться в жесткие рамки родительских требований. Возвращаться, в том числе со свидания, надо было к определенному, довольно раннему часу. Мотивировались эти строгости, разумеется, волнениями родителей за меня. Главнбеспокоящимся была мама; впрочем, папа (то есть, мой отчим, Л. А. Мазель), более либеральный, но и более педантичный, держал ту же линию. Однажды у нас с ним произошел характерный конфликт на этой почве.

Мы жили на даче в Челюскинской, я вечером поехал кататься, пообещав вернуться в условленное время. Но в самой дальней точке маршрута, по другую сторону железной дороги, у меня что-то сломалось, я долго возился, наконец, кое-как починил и, в конце концов, с большим опозданием в полной темноте добрался до дачи. Папа стал неприятным тоном меня отчитывать — за нарушение слова и причиненное беспокойство. Несправедливость этого выговора меня возмутила — может быть, потому, что обнажила садистскую подоплеку всех подобных строгостей. Я ответил, что не вижу оснований для недовольства, наоборот, все получилось правильно. Он беспокоился, как бы со мной чего не случилось, — так вот именно это и произошло, со мной именно случилось, и таким образом его беспокойство и ожидание не пропали даром. Какое-то либерализующее действие эта аргументация тогда возымела, но и в шестидесятилетнем с лишним возрасте, до самой его смерти (2000 г.), я продолжал держать перед ним нескончаемый экзамен по пунктуальности — межконтинентальных звонков и московских возвращений в квартиру, будь то пешеходных, велосипедных или таксомоторных.

А вот сравнительно недавняя история. Написав полупародийный разбор одной эротической поговорки, я послал его своему ньюйоркскому коллеге М. Тот прочел и, смеясь, сказал, что статья напоминает ему меня самого. Я смущенно спросил, чем же именно — имеет ли он в виду что-то из

сексуальной сферы. Нет, сказал он, не из сексуальной, а из велосипедной: она написана так, как я ездил у них на велике весной 1993-го года.

Вспомнить о своем личном рекорде было приятно. Я тогда прилетел в Нью-Йорк поработать с М. над нашей совместной книгой. У них была двухкомнатная квартирка в Гринвич Вилледж. Мы работали целыми днями, а ночевал я то у них, то у других знакомых, на противоположном конце Манхэттена, около Колумбийского университета. Курсировал между двумя квартирами на велосипеде; это больше сотни кварталов.

Когда в работе с М. наступал перерыв, я брал стоявший в передней велосипед и пытался объехать на нем журнальный столик в гостиной. Сначала я не успевал развернуться, задевал за мебель и с позором соскакивал посреди комнаты. Но терпенье и труд все перетрут — наступил день, когда я стал свободно въезжать в гостиную, огибать столик, выруливать обратно в переднюю и даже заворачивать в спальню!

М. сочетает добродушие со злоязычием. Как-то раз, когда я стал восхищаться его умением отыскивать в букинистических магазинах редкие книги, да еще и по дешевке, он сказал, что у каждого свои пристрастия-дарования, вот, например, у меня — к велосипеду. Поэтому не исключено, что и уподобление моих дискурсивных пируэтов велосипедным задумано было как ядовитая ирония. Но я принял его как комплимент. Тем более, что, на мой взгляд, велосипед — с его рамой и твердо

надутыми шинами, с посадкой в седле, руками на руле, ножной моторикой и общей телесной эквилибристикой, действительно очень сексуален. Написать про эрос на хорошем велосипедном уровне — не хухры-мухры.

Windows в Европу

Интерес к новому уживается у меня с консерватизмом. Тут много личного, но есть и общероссийское (не говоря о соприродности мемуарному жанру). Об этом хорошо размышлять в ностальгическом ключе на опыте смены стран, специальностей, интеллектуальных ориентиров, друзей, жен и других, выражаясь современным метаязыком, *significant others*. Но ограничься эволюцией своих орудий письма.

В школе (1944-1954) мы писали ручками со вставными перьями. Вспоминаются: официально рекомендованное перо No. 86 (увековеченное в «Двенадцати стульях», где его гигантская модель оставляет след на спине Остапа Бендера); слегка нонконформистская, с мягким, загнутым кверху кончиком, «лягушка»; и какое-то «рондо», которым, кажется, писала мама. Авторучки («самописки») усиленно запрещались, как вредная для почерка роскошь. Еще более решительная война велась школьным истеблишментом против появившихся своим чередом шариковых ручек. Зато среди прилпатненных модников принято было ношение на внешнем кармане возможно большего числа

самописок, золотые держатели которых («ручейки») престижно сверкали.

Я долго держался «лягушек», со временем перешел на самописки и шариковые, но почерк у меня на всех этапах был неважный. Всерьез его негодность сказала, когда я стал отдавать в перепечатку свои сочинения, вызывая нарекания машинисток. Начало этого периода, связанного с Лабораторией Машинного Перевода (1959-1974), в первый же день ознаменовалось выделением мне особого рабочего места — письменного стола с выдвигаемыми ящиками и принадлежностями для письма: пачкой бумаги, карандашом, ластиком и шариковой ручкой. Помню радостное ощущение собственной профессиональной ценности, вызванное этими атрибутами признания со стороны административно-хозяйственной части Института.

Их символичность станет понятной, если учесть, что к ним более или менее сводилась материальная база Лаборатории. В ответ на просьбы иностранных визитеров показать компьютеры, пышно именовавшиеся электронно-вычислительными машинами (ЭВМ), наш шеф В. Ю. Розенцвейг молча закатывал глаза к небу, позволяя догадываться, что на такое рассекречение отечественной электроники высшие инстанции не пойдут. Ознакомившись, в ходе срочной ликвидации своей кибернетической безграмотности, с понятием «машины Тьюринга», мы остряли, что работаем именно на этом идеальном устройстве. Един-

ственным реальным автоматом, с которым мне (как никак, старшему инженеру Лаборатории — другой должности для меня в штатном расписании не нашли) приходилось иметь дело, долгое время оставалась выданная администрацией авто-ручка.

Тогда шли разговоры, с одной стороны, о моделировании различных языковых уровней (морфологического, синтаксического, семантического), а с другой, — о создании особых ЭВМ для машинного перевода. Я предложил взять патент на специализированную машину перевода с молдавского на румынский, действующую на основе «алфавитной модели» — наклеивания на клавиши латинской машинки русских букв. Перевод, причем безупречный (если угодно, трансляция из Третьего Рима обратно в Первый, ведь «румынский» это этимологически не что иное, как «римский»), осуществлялся бы на вполне осязаемом агрегате.

Между тем, претензии к моему почерку требовали практического решения, и им стало овладение машинописью. У папиной тети нашлась старая портативная машинка, и теперь машинисткам я отдавал текст, вчерне уже напечатанный. Но оставалась проблема латиницы. И тут в мою жизнь вошел предмет, буквально материализовавший чисто платоновскую до тех пор идею пишущей машинки Тьюринга.

Андрей Зализняк связал меня с уникальным мастером (по фамилии Курчев), который за умеренную плату творил небольшое чудо. Покупая у

ветеранов ВОВ и их наследников трофейные машинки «Мерседес», из двух латинских он соорудил одну двухалфавитную. Он вырезал каретки из корпуса; на молоточки одной наплавлял русский шрифт (а на клавиши наклеивал русские буквы); и с помощью специальных штифтов делал каретки съёмными, причем так, что перестановка не сбивала строки. Потренировавшись, я довел время смены каретки до рекордных 37 секунд.

На курчевской машинке я проработал полтора десятка лет, вплоть до эмиграции (1979). Готовясь к отъезду, я решил взять ее с собой. Я, конечно, знал, что на Западе, да и у моих наиболее продвинутых машинисток, были IBM-овские электрические машинки со сменными шариками — наборами разноязычных шрифтов. Но неизвестно было, когда еще на неведомом Западе я смогу позволить себе подобную роскошь, да я и побаивался этих электротехнических аппаратов. А привычное и надежное изделие русского умельца давало шансы какое-то время продержаться.

Вызванный напоследок отрегулировать машинку, Курчев удивил меня. Он отказался взять деньги. «Вам нужнее», — повторял он, и я отступился, хотя как раз деньги, мало подлежащие вывозу, у меня были. Я почувствовал, что, преподнося мне в дар этот прощальный сервис, он как бы символически присоединяется к моему отъезду, возможно, надеясь, что в заветной лире созданного им западно-восточного гибрида его душа отчасти убежит советского тленья.

В Итаку машинка после долгих странствий прибыла помятой и потребовала дорогостоящего ремонта, каковой, впрочем, оказался мне по карману. Более или менее за те же деньги можно было бы купить новую электрическую с шариками, но я сохранил верность доброй старой мерседесовской. В ответ она честно служила мне на Восточном берегу и последовала за мной на Западный (1983), хотя еще в Корнелле официально обрела музейный статус, когда единственная в Америке компания, производившая ручные машинки, объявила о прекращении их выпуска.

Не вдаваясь в психоанализ своего упрямства, отмечу эмблематичность этого симбиоза человека и машины. Трудно вообразить более наглядное выражение — нежели мой вдвойне коллекционный, одновременно антикварный и уникально модернизированный аппарат — для комплекса противоречий, уживающихся в новоявленном американце, который бойко, хотя и с неистребимым русским акцентом, разглагольствуя по-английски, рекламирует на постмодерном западном рынке свой советский структурно-семиотический товар.

Году в 1986-м, подталкиваемый Вадиком Паперным — энтузиастом новой техники, я купил свой первый компьютер и редакторскую систему Academic Font, изобретенную неким калифорнийским компьютерщиком-славистом. Расстался я с ней — в пользу WordPerfect'a — лишь через десяток лет, когда впору было уже подумать о Windows. С ними я тоже долго упрямылся, лелея надежду пе-

реждать их, чтобы потом перескочить прямо в то, что придет им на смену. В конце концов, сколько революций — политических и технических — может вынести один человек?!

Апология собственной косности была и на этот раз примерно та же: сила привычки, неподъемность кириллицы, убеждение, что отличное злейший враг хорошего. На новизну работали мощные факторы, но я упорно держался прошлого и невольно смешил коллег, говоря: «I don't do windows» (оказалось, что это стандартная фраза наемных уборщиц, означающая, что мытье окон в их обязанности не входит). Неожиданную солидарность в своем цеплянии за DOS я встретил у Ирины Паперно, оснащенность научных работ которой новейшим интеллектуальным арсеналом сомнению не подлежала. Мы морально поддерживали друг друга по телефону, сетуя на ненужные технические новшества и делясь домашними рецептами их обхода.

На Windows я перешел, но, так сказать, одной ногой. В кабинете у меня стоит старенький DOS-овский компьютер без Windows и электронной почты, который я уже скоро год, как не выключаю из сети, — с тех пор, как он однажды долго отказывался заработать. На другом столе располагается компьютер средних лет, в котором целиком скопировано содержимое его соседа и вдобавок имеется MS-Word и система перекодировки на него с DOS-а. А в другой комнате целый угол занимает новая система, где есть все — и Windows, и e-mail,

и выход в Интернет, и специальный драйв для фильмов (DVD), и цветной принтер, и сканнер с системой распознавания текстов на многих языках. Скопировано туда и все мое DOS-овское богатство.

Хотя дни DOS'а сочтены, эти строки я пишу на самом древнем своем компьютере без окон, без дверей. А за моей спиной, на полу около камина, так сказать, на запасном пути, стоит «Мерседес» со сменной кареткой — давно не пускавшееся в ход, старое, но, в принципе, грозное оружие.

Недавно, работая над статьей, я по телефону изложил ее замысел Ире Паперно. Она спросила: — И это все?

Я пустился объяснять, что многое еще предстоит сделать, развить, в статье, повидимому, будет то-то и то-то, концептуально же, в общем, да, все, а чего вам, собственно, не хватает?

— Как? Без субверсии, деконструкции, демифологизации? — Она явно намекала на мои ахматовские работы. — Простой структурализм?

— А-а, да. Структурализм от сохи. Так сказать, статья в DOS'е.

Ира с удовольствием повторила эту формулировку и потом несколько раз мне ее напоминала.

А что? В нашей науке всегда есть место дедовским способам. Я много раз убеждался, что в любую самую изученную область, где, казалось бы, не протолкнешься, достаточно просунуть руку, чтобы поднять с полу что-нибудь никем не замеченное, хотя и лежащее на виду. Примерно так же думал я

и смолоду. Но тогда я полагал, что подобные дерзости осуществимы исключительно с помощью новых, структурных методов. А с течением лет пришел к мысли, что методы годятся всякие — не исключая устаревших тем временем структурных. И в случае успеха, все равно, рапортовать ли о нем на Windows, DOS'е или Mercedes'е.

Котлеты моей мамы

Консерватизм психологически понятен еще и потому, что нашим прошлым является детство, сохраняющее притягательность, даже если проходило оно не в лучших условиях.

Два года моего детства — от четырех до шести — пришлось на эвакуацию. Мы жили сначала в совхозе под Свердловском, а потом в самом городе, на ВИЗе, в поселке Верхне-Исетского Завода. Папа работал в Свердловской и переведенной на Урал Киевской консерваториях, так что мы не голодали. Все же питались мы (папа, мама, папина мама и я) много скромнее, чем раньше; часто ужин состоял из картофельного блина, крест-накрест разрезанного на четыре части.

Последствия такой диеты для моего здоровья оказались самыми благотворными — я излечился от мучившего меня в Москве диатеза, против которого бессильны были (или который вызывали?) бесконечно испытывавшиеся врачами комбинации соков, фруктов, бульонов и т. п. У меня развился бешеный аппетит (сохранившийся по сей

день), и меня ставили в пример капризной малоежке Наде из другой музыкальной семьи, жившей в совхозе в той же избе, что наша и еще две эвакуированных. Роль образцового пай-мальчика неблагодарна, и понятно, что Надя должна была меня возненавидеть. Во всяком случае, именно так я предпочитаю объяснять себе оскорбительное равнодушие, проявленное ею к моим вздыханиям, когда восемью годами позже мы оказались в одном и том же пионерском лагере Союза Композиторов.

Интересно, что и на этот раз причиной моей отправки «в люди» послужили исторические события: папа был уволен из Консерватории в ходе кампании против «космополитизма» (1949 г.), и об отдыхе в композиторском Доме Творчества где-нибудь в Карелии или на Рижском взморье пришлось на некоторое время забыть. К удивлению родителей, я был в восторге от лагерной жизни и охотно остался на второй месяц. Помню, как ужаснули маму (из Москвы вызвавшую меня к телефону в кабинет директора, чтобы обсудить вопрос о второй смене) мои слова, что «добавки дают вволю». Она решила, что нас держат впроголодь.

Так или иначе, мой аппетит, а с ним и здоровая неприхотливость в пище остались при мне. Впрочем, неприхотливость не то слово. Вернее будет сказать — требовательная приверженность к привычному минимуму: хлебу с маслом, котлетам с картошкой, чаю с сахаром.

Мама готовила не очень хорошо, да и мало этим интересовалась. По возвращении из эвакуации, а тем более после войны, благосостояние семьи поправилось. Появились и часто сменялись домработницы, готовившие кто как. Особенно запомнилась одна довольно старая и неаппетитная женщина по имени Анна Максимовна Гилянис. Она поступила к нам по рекомендации, после смерти некоего генерала, у которого долго служила сиделкой. Готовила она невкусно (при генерале ее функция состояла в том, чтобы развлекать его разговорами), в супе попадались волосы, зато, подавая папе очередное блюдо, она приговаривала на полупотопе нечто совершенно доисторическое, откуда-то чуть ли не из Островского: «Кюшшайте, кюшшайте, Ваше превсс-дит-сство!»

Эта овеванная стариной формула всегда интриговала меня. Прикинув, что в 1950-м году Анне Максимовне было около шестидесяти, было трудно вычислить, что она вполне могла успеть до революции побывать в прислугах у какого-нибудь царского генерала или чиновника. Задуматься заставляла, однако, сохранность подобных старорежимных замашек несколько советских десятилетий спустя, наводившая на невероятную догадку, что величание «превосходительством» принято было и у одра советского военачальника. Кто знает, может быть, именно эта архаичность речи обеспечила Анне Максимовне взятие на разговорную должность сиделки?! Наконец, не исключена была возможность, что заставивший

уважать себя генерал сам сохранился с царских времен, и таким образом перерыва в употреблении архиконсервативной формулы вообще не наступало.

Мама умерла, когда мне было 17 лет; с женами же мне определенно повезло — почти все они готовили вкусно, а некоторые просто замечательно. Одна из них делала это, правда, лишь по большим случаям, зато с бесспорным искусством, являя фигуру в буквальном смысле редкой хозяйки. Другая была настоящей энтузиасткой и мастерицей кулинарного дела, и ее тем более задевал мой отказ похвалить ее котлеты. Приготовленные каждый раз по новым рецептам, они никак не могли дотянуть до эталона, заданного когда-то мамой и свято хранившегося в моей внутренней палате мер и весов. Но Таня не смирялась с поражением и продолжала борьбу.

Как-то у нас была ее подруга, мы сидели на кухне, и Таня пожаловалась:

— Вот, Лена, стараюсь изо всех сил, но, конечно, опять не выйдут эти загадочные «котлеты его мамы»! То получаются слишком пышные, то слишком нежные, прямо не знаю.

Лена отреагировала неожиданно:

— Котлеты его мамы? Да ты подумай, когда она их делала! Небось, в эвакуации. Положи 90% черняшки и все. Подумаешь, котлеты его мамы!

С ходу бухнуть столько хлеба рука у Тани не поднялась, но какую-то поправку в указанном направлении она сделала, результатом чего было за-

метное приближение к идеалу, и вскоре задача изготовления котлет моей мамы была решена полностью и окончательно.

Вызванный однажды из глубин прошлого и закрепленный с тех пор в нарративе, рецепт маминых котлет обеспечивает им вечное возвращение. Жены приходят и уходят, а котлеты остаются.

Акмеизм в туфлях и халате

В доме No. 41 по Метростроевской ул. (ныне опять Остоженке), где я прожил всю свою советскую жизнь, бывал Мандельштам. Он бывал там у своего собрата-акмеиста Михаила Зенкевича. Сын Зенкевича Женя был другом моего послевоенного детства, и я много времени проводил у них в квартире. Сначала они, как и до войны, занимали полуподвальную квартиру No. 1, а потом переехали в лучшую, бельэтажную, No. 27, где Женя с семьей живет и сейчас.

У Зенкевичей я чувствовал себя, как дома. Меня родители держали строго, а Женю баловали. Он мог без ограничений собирать марки и покупать рыбок. У него, а не у меня, проходили наши детские игры, в частности, в пуговичный футбол; я располагал всего одной командой, а Женя — целой лигой «А», так что мы по всем правилам разыгрывали собственный чемпионат. У Зенкевичей же я впервые смотрел телевизор и слушал магнитофон. Меня совершенно не стеснялись, и поэта-акмеиста я привык видеть в сиреневых каль-

сонах, а его жену Александру Николаевну, распольную актрису былых времен («красавицу пленную турчанку», согласно прочитанным в дальнейшем мемуарам Надежды Яковлевны), — в халате. К ней в возрасте лет шести-семи я питал эдиповские чувства, которыми как-то раз поделился с поднявшим меня на смех Женькой.

В квартире было много книг, Михаил Александрович занимался переводами из американской поэзии, но о литературе речи практически не было. Сам М. А. вообще разговаривал мало. Александра Николаевна нигде не служила, проводила много времени на лавочке во дворе и готова была говорить о чем угодно, только не на рискованные литературные темы. Старший сын Зенкевичей, красавец-спортсмен Сергей, выбрал профессию физика-ядерщика и молодым умер от лейкемии. Женя был большим выдумщиком (сказывались писательские гены), окончил в дальнейшем ИнЯз, но словесностью не интересовался. «Канальскими стишками» (как окрестили Мандельштамы верно-подданические стихи Зенкевича, напечатанные после поездки писателей на Беломорканал), было оплачено не только благополучие семьи, но и его литературно-самоубийственная изнанка. В результате, о Мандельштаме я узнал не от них, а как все, — прочитав где-то в конце пятидесятих годов машинописное самиздатовское собрание. Но узнав, стал спрашивать.

В ответ на мое проснувшееся любопытство Михаил Александрович однажды изобразил, как

Мандельштам с завыванием и озорным выделением похабной клаузулы скандировал строчки из «Зверинца»: *Я палочку возьму суХУЮ, / Огонь добуду из нее, / Пускай уходит в ночь глуХУЮ / Мною всполошенное зверье!* В другой раз Александра Николаевна рассказала, как Мандельштам приходил занимать деньги.

— Бывало, истратится, придет перехватить десятку. Ну, Михаил Александрович ему дает. Он уходит, смотрим, — тут я ясно представил себе, как, поднявшись по лестнице из подвала, она смотрит вслед Мандельштаму, удаляющемуся вдоль дома и через скверик выходящему на улицу, — смотрим: он уже извозчика берет!

Неожиданная посмертная слава безалаберного Мандельштама задевала Александру Николаевну. В ревнивых тонах говорила она и о Пастернаке. В дни осенней травли 1958 года она возмущалась тем, что его письмо Хрущеву с отказом от Нобелевской премии, опубликованное в «Правде», начиналось словами «Уважаемый Никита Сергеевич!»:

— «Уважаемый»! Попробовал бы он Сталину так написать!

В счет Пастернаку Александра Николаевна ставила также то, как хорошо он устроился в эвакуации в Чистополе, где его можно было видеть разъезжающим в санях с «хозяйкой города» (женой предгорисполкома?).

Сурово обращалась она и с собственным мужем-поэтом. Как-то много позже, наверно, в начале 70-х,

я встретил ее в скверике перед домом. Речь зашла о М. А. и выходе его книжки стихов.

— Он хотел мне подарить, но я не взяла. Он включил в нее те стихи, неприличные. Я говорила, чтобы он их не печатал. Он бегал их читать к Маруське Петровых. Вот пусть ей и дарит.

Я не помню, да, кажется, не понял и тогда, в чем состояла суть обвинения: в том ли, что Зенкевич «бегал» к Марии Петровых в эротическом смысле слова; в том ли, что он посвящал ей и читал у нее стихи, будь то любовные или нет; в том ли, наконец, что, слушиваясь жены, позволял себе сочинять нечто рискованно амурное, неважно кому адресованное. В расспросы я не пустился и даже стихотворение идентифицировать не попытался (в специально просмотренном сейчас сборнике 1973-го года ничего даже отдаленно эротического нет). Запомнилось другое.

Меня поразила несвобода литературы от житейских обстоятельств. Ладно там Беломорканал, Воронеж, Гулаг, Жданов, нобелевская травля — на то и диктатура. Понятно и про «страх влияния» — бумаги нехватает, пишешь на чьем-то черновике, какая уж тут свобода?! Но чтобы восьмидесятилетний поэт, так ли, эдак ли проживший сквозь весь подобный опыт, должен был при составлении первой за многие годы самостоятельной книжки оглядываться на жену, — это было настоящим откровением. Слава богу, Зенкевич хоть тут не сплеховал и сориентировался на Маруську.

Несвобода эта очень знакомая. В мемуарных заметках, да и в критических эссе, все время опасешься, как бы не сказать что-нибудь не то и кого-нибудь не того не так назвать. Особенно много приходится слышать, как нехорошо снижать образы наших кумиров неприглядными деталями. Для острастки обычно призывается Пушкин, сказавший, что великие люди, даже если и мерзки, то, врте, и мерзки-то они не так, как вы, — иначе!

Пожалуй. Но именно поэтому кумирам никакое снижение не страшно. Ну, тратил Мандельштам чужие деньги на извозчика, напевая про *палочку суХУЮ*, ну, любезничал Пастернак с хозяйкой Чистополя ради поддержания сестры своей жизни, — все это теперь лишь ценные штрихи к портретам великих. Хуже Зенкевичу, о кальсонах которого я упоминаю уже с некоторой морально-этической дрожью (другое дело, если бы я мог пролить новый свет на исподнее Мандельштама или Пастернака), и тем более Александре Николаевне. Какой неблагодарностью отвечаю я на ее квази-материнство и даже некоторое квази-иокастовство, а заслониться ей нечем, разве что знакомством с тем же Мандельштамом. И совсем плохо мне, настолько рядовому, что я не решаюсь выписать здесь тот по-детски нескладный глагол, которым я объяснял Женьке, что бы я мечтал делать с его матерью (ничего, кстати, такого палочного). Не решаюсь, ибо понимаю, что мои скромные персона и стилистика не выдержат его нелепости. То есть, робею еще больше своего канальского соперника.

Очерки бурсы

Школу полагается ненавидеть; у меня этого не было. Я посещал ее охотно и благодарен ей за некоторые прочные знания. Проблематичность школьного опыта дошла до меня не сразу.

1. Мальчики

В средних классах литературу преподавал высокий, плотный, в потертом щегольском костюме Алексей Дмитриевич К-ов. Его приветливое, но какое-то голое лицо с большой румяной бородавкой стоит у меня перед глазами. На его уроках требовалось выйти к столу и, руки по швам, бодро рапортовать об образе Онегина или идейном содержании «Муму».

В этом стандартизованном порядке не все, однако, было так уж стандартно. Ал. Дм. становился позади отвечающего и своим праздничным фальцетом объявлял:

— Сейчас мальчик такой-то расскажет нам образ Онегина. Встаньте прямо, мальчик такой-то. — Он брал ученика за плечи, расправлял их, проводил вниз по его рукам, разворачивал его к классу. — Вот так. Ну, теперь отвечайте образ Онегина.

О нем, кажется, ходили соответствующие слухи, но в мое сознание они как-то не проникали. Его любимцем был Володя Дж-дзе, рослый, красивый, старательный. Вызывая Володю, Ал. Дм. исполнял ритуал обьятий, замаскированных под уроки выправки, с особой нежностью.

— Сейчас мальчик Дж-дзе, — Ал. Дм. смаковал каждый из четырех слогов этой шикарной фамилии, — прочитает нам наизусть стихотворение Лермонтова «Смерть поэта». Оглаживая и поворачивая Володю, он добавлял: — Вот какой у нас отличный ученик, мальчик Володя Дж-дзе.

Я был более бесспорным отличником, но на подобное special treatment претендовать не мог. До восьмого класса я был щупл и непрезентабелен. «У тебя только и есть, что чистенькое личико», — вздыхала мама. Впрочем, никаким драматическим унижениям я не подвергался (если не считать позорного поражения в драке — «стыкнемся?!» — с одним из слабейших одноклассников), тем более что имел покровителя в лице пышущего энергией Миши Р-ейна.

На переменах Миша вздохнул пересказывал мне очередные главы из «Трех мушкетеров» и бесконечных лет спустя. Самые яркие места он воспроизводил дословно:

— «О, женщины! Кто поймет их?! Вот женщина хочет мужчину, и вот она уже не хочет его!! — вскричал Портос и поскакал прочь». — Но это не исчерпывало Мишиного напора, и он то и дело хватал меня за грудки со словами: — Ты понял это, маленький уродец? Ведь ты же знаешь, что я все равно тебя убью?!

Соперничество с Володей Дж-дзе продолжалось до окончания школы, но было напрочь лишено сюжетной остроты. (В итоге оба кончили с золотыми медалями.) Настоящим вызовом моему ли-

дерству стало появление в классе ученика по фамилии Ш-нь. Он был детдомовцем из Белоруссии, жил у дальних родственников и носил всегда одну и ту же серо-зеленую сиротскую одежду с большим красным галстуком поверх курточки. Он шепелявил, ходил на Буратино, но назвать его «маленьким уродцем» язык ни у кого бы не повернулся — жестокость далась бы слишком дешево.

Ш-нь тянулся изо всех сил, получал пятерку за пятеркой, я же с аристократической небрежностью позволял себе и четверки. Мама не могла этого слышать. У нее были твердые взгляды на все, в частности на элитарность.

— Ты из профессорской семьи, у тебя отдельная комната и стол для занятий, и ты просто не имеешь права учиться хуже того, у кого нет таких условий.

Беспризорный Ш-нь в дальнейшем опять куда-то переехал, и соревнование прекратилось. Но мамыны прецеденты остались при мне.

2. Вечно женское

Школа была мужская — образование оставалось раздельным, хотя где-то существовали и смешанные школы. (Когда пришло время записывать меня в школу, мама спросила, в какую я хочу: где одни мальчики, или где мальчики и девочки? Где одни девочки, отвечал я.) В старших классах начались совместные вечера с женскими школами, но и в ранние годы интерес к сексу задавался не одним только монастырским гомоэротизмом Алексея

Дмитриевича. Волнующее *das ewig Weibliche* присутствовало; его воплощением была преподавательница начальной школы Анастасия Ивановна.

Она вела не наш, а один из соседних классов, но своей учительницы я не помню, помню только ее. Она была полновата, с большими глазами, дугообразно выщипанными бровями, пробором посередине и симметрично уложенными косами; ее лицо напоминало бабочку. У нее был, как я теперь понимаю, слащавый мещанский выговор. Говорила она размеренно, видимо, стараясь казаться изящнее и интеллигентнее, чем была. Ее с удовольствием слушались.

Она жила в здании школы, у нее был муж-офицер, но школьный фольклор упорно связывал ее то с одним, то с другим из преподавателей, одновременно — с прибалтийским, похожим на мартышку физкультурником. Кто-то из нас прослышал, что по утренней походке женщины можно определить, чем она занималась ночью, и иногда мы, с риском быть застигнутыми завучем вне класса, дежурили после звонка у лестницы, чтобы посмотреть, как будет ставить ноги идущая на первый урок Анастасия.

Старшие ребята позволяли себе и более прямые, разумеется, чисто словесные, посягновения. «На Асенке я бы попрыгал», — авторитетно заявлял многократный второгодник Валера З-в. Мне такое в голову не приходило, но облик Анастасии Ивановны ушел на дно моего подсознания, откуда определил, полагаю, не один любовный выбор.

Задним числом я бы возложил на нее ответственность за мои скифские вкусы, как на маму — за семитские.

3. Уроки Октября

Верховную власть представлял директор школы Федор Иванович Ш-в, по прозвищу Колобок. Он был лыс, кругл, невысок ростом, и хотя страх быть вызванным к директору традиционно висел над нами, я не припомню особых строгостей с его стороны.

Помню другое. Если заболел кто-нибудь из учителей и его некому было заменить, на помощь приходил Колобок. Делал он это ровно одним способом. Сославшись на свое бывшее амплу историка, он рассказывал, как «на VI съезде партии, летом 1917 года, когда встал вопрос о переходе от мирного периода развития революции к немирному, товарищ Сталин задал троцкисту Преображенскому вопрос: ...». Каверзный вопрос товарища Сталина выветрился из моей памяти, хотя слушал я каждый раз с удвоенным интересом, потому что товарищ Сталин был жив и боготворим, а сын троцкиста Преображенского под другой фамилией проживал в нашем доме.

Олицетворял власть директор, но настоящий страх внушал не он, а завуч, молчаливая седая женщина в очках, по имени, кажется, Зинаида, отчества не помню. Вообще, я ничего о ней долгое время не помнил, пока где-то в 70-е годы не прочел книгу корреспондента «Нью-Йорк Таймс» в Моск-

ве Хедрика Смита «The Russians». В этом поразительно адекватном этнографическом компендиуме нашей туземной жизни целый раздел был посвящен советской школьной системе — на основании опыта собственных детей, специально отданных Смитом в разные московские школы. Мне открылась мрачная картина унифицирующего угнетения юных душ, в которой я не мог не узнать своего вытесненного прошлого. Я вдруг вспомнил два сна, мучавших меня на протяжении многих лет, а потом успешно забытых.

В одном я якобы проболел больше месяца, страшно отстал по алгебре, грядет контрольная, я к ней не готов и просыпаюсь в холодном поту. В другом, времен начальной школы, я должен был после летних каникул явиться в школьную библиотеку и признаться в потере двух книг, взятых на лето, но страх, что библиотекаря отправит меня к завучу, заставлял бесконечно откладывать явку с повинной.

В результате, я не помню ни имени отчества математички, ни отчества завуча, ни какого-нибудь их словечка, ни чьего-нибудь словечка о них, как ничего не помню и об учительнице четырех начальных классов.

Маму помню ясно — тут Фрейд бессилён.

What's in a name?

У меня было двое друзей-сверстников по имени Феликс. В Америке это не очень солидное имя —

так обычно зовут котов (по контаминации лат. *felix*, «счастливый», с англ. *feline*, «кошачий», в том числе в смысле биологического вида); в России же за ним долгие годы однозначно слышался Дзержинский.

У одного Феликса (Д.) отец, действительно, еще со времен ЧК, служил в органах. Судя по рассказам Феликса, он был садистом на работе и дома, и Феликс носил в себе отпечаток этого опыта. Возможно, отсюда его неуживчивость и сравнительно ранняя смерть (в пятьдесят два). Но у другого Феликса (Ф.) отец был физик, да и вообще советская ономастика — вещь тонкая, колебавшаяся от года к году вместе с линией партии. Не исключено, что в 37-м Дзержинский мог для кого-то поэзоповски символизировать не органы как таковые, а их ранний, «чистый», «рыцарский» (в противовес ежовскому) имидж.

Помню, как в начале перестройки, году в 87-м, у нас в USC (Университете Южной Калифорнии) выступал представитель советского Министерства культуры, некто Генрих П., по виду и замашкам типичный гэбист, но, так сказать, с человеческим лицом, которое, впрочем, сидело на нем немного криво. Во время доклада он держался со мной, эмигрантом-антисоветчиком, настороженно, но вечером на парти, видимо, решил навести мосты. Мы разговорились. На вопрос, где он так хорошо выучил английский, он ответил, что учился в Рангунском университете. Он явно имел в виду блеснуть мировыми масштабами своего образова-

ния, мне же, естественно, бросилась в глаза его принадлежность к выездной прослойке.

— Это в какие же годы? — спросил я.

— В середине 50-х. Ведь мы с вами, наверно, однолетки.

— Я думаю, — сказал я внятно, — что вы минимум на год старше. Я тридцать седьмого года рождения.

Намек он, видимо, понял, потому что набиваться в друзья перестал. Действительно, откуда у русопятого и, весьма вероятно, потомственного партработника импортное имя Генрих? Вряд ли от Гейне; скорее все-таки от Ягоды, в 36-м снятого с должности главного чекиста и в дальнейшем расстрелянного.

Феликс Ф. появился в нашей 50-й школе поздно, классе в восьмом. Он был крупный, внушительный, развитой. Он уже твердо знал, что станет физиком. От него я впервые услышал имена Дирака и Гамова. Мы подружились.

Я был круглым отличником и признанным интеллектуалом номер один нашего класса. Моей популярности способствовало то, что я не был учительским любимчиком, со своими знаниями не высовывался, сидел «на Камчатке» среди второгодников, и давал списывать. Но с появлением Феликса я стал смотреть ему в рот, сразу признав в нем старшего. Сохранился снимок, где мы сидим на одной парте — задней в среднем ряду.

Старшим Феликс был и потому, что уже летом после 9-го класса, то есть, в 16 с небольшим, имел роман с «настоящей женщиной», женой отбывше-

го за границу дипломата. Феликс немногословно поделился этой новостью со мной, совершенно еще невинным юнцом.

Смерть Сталина застала нас в 9-м классе. Ее осмысление, тем более официальное, наступило далеко не сразу, но Феликс каким-то образом, видимо, почуял перемену. Так или иначе, он стал первым встреченным мной в жизни диссидентом. Диссидентом в миниатюре и *avant la lettre*, но вполне типичным — пострадавшим за литературную деятельность.

В конце учебного года обычно задавалось сочинение на тему «Как я провел майские праздники». Первомай 1953-го был первым после смерти Сталина, и Феликс написал что-то вольное, смешное, веселее — про то, как валяли дурака на демонстрации и после. Прямой антисоветчины там не было, но крамольным было уже само нарушение канонов этого самого массового из соцреалистических жанров.

Расправа последовала незамедлительно. Инициативу взяла на себя наша классная руководительница, англичанка Лидия Филипповна. Я хорошо помню ее извилистый нос, стервозное лицо и инквизиторские манеры. Меня она не любила — отчасти, наверно, потому, что английский я знал лучше нее, отчасти потому, что я не входил в круг тайных клеветов, собиравшихся у нее дома выпивать и наушничать.

Феликсу было предложено перед всем классом отречься от своего сочинения, но он продолжал

его отстаивать как в худшем случае безобидную шутку. Тогда на него повели массивное идеологическое наступление, наверно, заранее срежиссированное Лидией, а впрочем, столь стереотипное, что мысль о специальном сговоре мне тогда в голову не пришла.

Выступил и я. Выступил, мысленно любуясь адвокатской зрелостью своего примирительного рассуждения о том, что, с одной стороны, большого политического греха в сочинении Феликса я не вижу, а с другой — что ему, конечно, следует овладеть элементарными правилами общежития: так, в помещении не принято сидеть в шапке, а в первомайском сочинении — нести жеребятину.

Но Феликс не покаялся, и на голосование был поставлен вопрос об исключении из комсомола. Предложение прошло единогласно, то есть, за него спокойненько поднял руку и я! Голосовать против — «против советской власти» — такого я помыслить не мог.

Лишь постепенно я научился стыдиться этого поступка, дал себе слово в сходных ситуациях быть на высоте и в конце концов преуспел в этом настолько, что и сам стал подвергаться единогласным отлучениям. Феликс же на меня не обиделся, как не внял и моим нравоучениям: несмотря на всю искушенность моей проповеди социальной адаптации, в нашей дружбе я оставался младшим партнером. Каким-то образом исключение не помешало ему в следующем году поступить в желанный вуз (Инженерно-физический), успешно окон-

чить его и по распределению остаться в Москве, в одном из ядерных институтов.

Однако он и тут уклонился от стандарта — завербовался на метеостанцию где-то на Камчатке. Там он жил совершенно уже джеклондоновской жизнью, охотился, ездил на собаках, выходил в море на байдарке стрелять уток. Один раз он приехал в отпуск, примеривался остаться в Москве, женился, но на следующий год уехал снова. Его там уже так хорошо знали, что пограничники позволили ему выйти в море перед началом шторма, хотя и предупреждали об опасности. Байдарка перевернулась, и на берег его вынесло уже мертвым.

Цинковый гроб с его телом долго в жару ехал с Дальнего Востока поездом. На похоронах я впервые увидел его отца — седого, надломленного, но очень на него похожего и похоже говорившего. Это произошло, я думаю, летом 1961 года, то есть, нам было по 24. Но он уже успел побывать моим старшим другом, чуть ли не отцовской фигурой (даже погиб он почти так же, как мой родной отец, утонувший, переплывая на байдарке Белое море), успел немного наворожить мне («В своей области ты будешь известным человеком»), а главное — преподать первый урок аутсайдерства. Вопреки советской символике своего имени, он выступил в роли жертвы, а не карателя («железного Феликса»), каковым оказался скорее я, не справившийся с программой, закодированной в моем (Александр — «защитник мужей»). Свою короткую жизнь Феликс, «счастливый», прожил, как хотел.

Связи по смежности

Поэзия основана на переносах по сходству — метафорах, прозе же прописана смежность. Правда, обе установки часто переплетаются. В стихе самый метр делает смежное сходным, а в основе прозы лежит сюжетный ритм потерь и приобретений.

Я не люблю терять вещи, исподволь приглядываю за ними и периодически перепроверяю их наличие, но, как правило, сам же и предаю породившие нас узы. История удержаний, пропаж, поисков, находок и новых утрат образует канву моего непрерывного, по большей части смешного и в целом безнадежного possessивного квеста.

1. «Оскар»

Однажды в детстве, лет семи-восьми, съехав с горки на санках, я врезался переносицей в каменный скат подвального окна нашего дома. Заливаясь кровью, я бросился домой, на второй этаж. При виде крови мама пришла в ужас, я же держался, как подобает мужчине. Тревожило меня главным образом то, что пострадала окровавленная шуба. За санки беспокоиться не приходилось, ибо их я, к изумлению мамы, из рук не выпустил. (Шрам на носу сохранялся долго, но сейчас его что-то не видно, — пропал!)

Собственно, мама и преподала мне первые уроки бдительности. Почему-то особенно запомнился ее наказ не спускать глаз со своих вещей при

переобувании на катке (в Парке культуры им. Горького). Наказ этот я выполнил с честью и на катке не был обворован ни разу, да и вообще развил в этом отношении почти полный иммунитет. Сильно обокрали меня только в Риме (1981 г.), разбив стекло машины Энн за те 10 минут, что мы пробежались по вилле Боргезе (итальянцы, как известно, — воры экстракласса), да в Санта-Монике за первый десяток лет уперли три велосипеда — исключительно потому, что я каждый раз расслаблялся, воображая себя чуть ли не в раю.

Гипертрофированное чувство собственности выходит у меня далеко за пределы эгоцентризма. Мало сказать, что я уважаю чужую собственность — я вполне бескорыстным образом ревниво слежу за ее сохранностью в самых неожиданных ситуациях. Так, однажды в кино я поймал себя на том, что, когда по ходу фильма герой, встретившись с героиней, поставил на землю бывший у него в руках чемодан и, заговорившись, казалось, забыл о нем (как, наверно, и большинство зрителей, поскольку дело было не в этом), я никак не мог сосредоточиться на диалоге, тревожась за судьбу чемодана. К счастью, режиссер (или кто-то из его помощников), в конце концов, вспомнил о нем и вернул его владельцу, а тем самым — символически — и мне.

Кстати, именно в кино мне была преподнесена смешная до слез карикатура на этот комплекс. В 60-е годы в России шло множество фильмов с французским комиком Луи де Фюнесом (в Амери-

ке неизвестным и практически недоступным). Действие самого запомнившегося из них, «Оскара», вертелось вокруг путаницы с двумя одинаковыми чемоданчиками, один из которых был набит крупными ассигнациями, а другой — дамскими лифчиками. В какой-то момент Луи де Фюнес, вернув себе чемоданчик с деньгами и держа его под рукой на столе в своем огромном кабинете, со смаком отчитывал подозреваемого в подменах Клода Риша. Тот скромно держался вдалеке, Луи де Фюнес же, постепенно распаляясь, стал рассказывать по кабинету, все больше удаляясь от чемоданчика, но не спуская с него бдительного взора. Наконец, амплитуда его триумфальных проходов увеличилась настолько, что он оказался дальше от чемоданчика, чем Клод Риш. Мгновенно спохватившись и смерив глазами эти два расстояния, он с отчаянным криком «А-а-а!!», — как если бы его грабили, хотя Клод Риш оставался неподвижен, — бросился к чемоданчику и по-гарпагоновски прижал его к своей груди.

Глубокая правда этой мизансцены, конечно, в том, что персонаж Луи де Фюнеса мысленно, так сказать, сам себя ограбил, обнажив таким образом внутреннюю природу своих страхов. Вопрос ведь не во внешних силах, которые естественно предполагаются стремящимися разлучить нас с нашими пожитками, а в том, сколь надежно наше ответное пребывание начеку. Недаром переживания по поводу потерь фокусируются обычно не на материальном ущербе, а на унижительном чувстве мо-

рального поражения. И поскольку сквозным лейтмотивом этой вечной драмы является сохранность, постольку ее сюжет разнообразно варьирует контрастный мотив утраты. Сам я постоянно что-то оставляю, забываю, упускаю из поля зрения, но чувствую себя как бы персонажем специально на эту тему написанной пьесы, — может быть, потому, что после комических пертурбаций потерянные вещи чаще всего возвращаются ко мне и дело венчается хэпи-эндом.

2. «Маши-ки»

В середине 70-х годов я работал в «Информэлектро», где присутственный режим был сравнительно вольный, но время от времени отдел кадров проводил проверки, о которых, как правило, становилось известно заранее, и тогда требовалась всеобщая явка к 8-ми утра. Я человек дисциплинированный и большой проблемы в этом не видел; я просто брал с собой в портфеле, а то и в двух, все нужные для моих посторонних занятий поэтикой материалы и мирно корпел над ними в пустой институтской читальне.

Все-таки ранний подъем и психологический стресс, не говоря об утренней давке в метро, видимо, сказались, ибо в одно прекрасное утро я выскочил на платформу на «Красных воротах» только с одним портфелем в руках — привычный самоконтроль (руки не должны быть пустыми) сработал по минимуму. Я, конечно, сразу же обнаружил нехватку, обратился к работникам метро,

они связались с машинистом, поезд был осмотрен по прибытии на конечную станцию (а потом еще раз мной, когда опять проезжал «Красные ворота»), но безрезультатно.

Потеря была нешуточная — в портфеле были записные книжки, документы (в том числе институтский пропуск), почти законченная рукопись, которую я собирался отдать в перепечатку (для чего в течение некоторого времени запасался номерами машинисток), иностранные и библиотечные книги, в общем, много чего. К счастью, моя агония продолжалась недолго. Вскоре позвонила Танина мама — сказать, что ей звонил какой-то странный человек, представился нашедшим мой портфель, и она дала ему мои телефоны. А вскоре позвонил и он сам.

— Саша? Наше вам с кисточкой. Вы потеряли, мы нашли. Ваше счастье, а то, знаешь, потерял — пиши пропало.

— Большое спасибо. Как мы встретимся?

— Давай приезжай, только с тебя, конечно, причитается. И ты, это, один приезжай, без милиции, понимаешь. Если не один будешь, мы к тебе не выйдем.

— Все понятно. Как к вам доехать и как мы узнаем друг друга?

Он объяснил мне дорогу куда-то на самую окраину и сказал, где его ждать. А узнает он меня спокойненько по фотографии на пропуске. В целом радуясь, но несколько тревожась относительно суммы выкупа, я захватил две двадцатипятируб-

левки, поймал такси и поехал. Как только я, расплатившись, вылез из машины и начал осматриваться, ко мне подошел простецкого вида работяга-забуддыга. В руках он держал мой пропуск и записную книжку, явно наслаждаясь раскладом, при котором он выступал в качестве инстанции, проверяющей документы, а я в роли опознаваемой сомнительной личности. Портфеля при нем не было.

— Да, сперва мы тебя никак не могли разыскать. Твоего-то телефона в книжке нет. Тогда мы стали твоим блядям звонить, а они, суки, не признаются.

— Каким блядям? О чем вы говорите?

— Ну как же? Вот, — он протянул мне мою записную книжку, — пожалуйста, черным по белому: машинки. И телефонов штук пять. А они все как одна отказываются, говорят, мы его не знаем.

Я заглянул в книжку. На букву «М», под беглым карандашным «Маш-ки», значились телефоны машинисток, добытые по расспросам знакомых и еще не пущенные в ход. Своего собеседника я посвящать в эти тонкости не стал. Он же воодушевленно рассказывал, как, звоня по всем телефонам подряд, они в конце концов вышли на Ксению Владимировну.

— Так где же портфель?

— Ща пойдем, только сперва надо, это, в магазин зайти.

Я понял намек и приготовился раскошелиться. Мой спутник недолго осматривал витрину и заказал три бутылки портвейна. Это стоило рублей

пять-шесть, но так как я уже вынул четвертную, я со словами «для дома, для семьи» спешно накупил каких-то дорогих бутылок и шоколадных наборов и погрузил их в сумку. Работяга рассовал по карманам портвейн, и мы двинулись.

Он привел меня к стационарному вагончику, в каких живут ремонтные рабочие. Нас встретили веселыми возгласами. Внутри вагончик был обклеен глянцевыми вырезками с полуобнаженными девицами. Меня пригласили принять участие в распитии принесенного, но я отказался, сославшись на занятость. Они не настаивали. Мне был выдан портфель, велено убедиться в сохранности содержимого и посоветовано в дальнейшем не быть таким распиздяем. Я отбыл, не веря своему счастью и не переставая дивиться скромности запросов простого советского человека (слова «совок» тогда еще не было). Так я воссоединился с утраченной было собственностью, но зато остро ощутил безнадежность своего отрыва от народа — отрыва пока что метафорического, но которому через несколько лет предстояло овестествиться в виде эмиграции.

3. «Следуйте за той машиной!»

В западной обстановке эффектный сюжет потери-находки мне пришлось пережить дважды, причем оба раза терялся один и тот же портативный компьютер сравнительно раннего образца — laptop фирмы «Тошиба», имеющий, кстати, классическую форму чемоданчика с выдвигной ручкой.

Первый раз я позорно забыл его в уборной нашего университетского корпуса (1991 г.). Я задержался в офисе, ставя последнюю точку в писавшейся книге, и уже затемно заспешил домой, ибо нам с Ольгой предстоял поход в гости. Помимо компьютера, при мне была обычная сумка, которая и насытила первую и основную валентность моего самоконтроля. Хватился пропажи я лишь перед выходом из дому, ибо захотел взять компьютер с собой, чтобы похвастаться его техническими достоинствами, элегантною легкостью (он весил «все-го» 12 фунтов) и, не в последнюю очередь, сохранившейся в нем — и только в нем! — книгой. Каков же был мой ужас при мысли, что эта изящная игрушка, стоившая, безотносительно к ценности моего сочинения, свои \$3,000, будет унесена — наверняка, уже унесена — первым же забредшим в туалет четвертого этажа по большой или малой нужде. Однако, прибыв на кампус, я обнаружил свою «Тошибу» смиренно ожидающей меня там, где я ее оставил. Судьба опять проявила волюнтаризм заботу о моем очередном опусе.

Настоящая трагикомедия с той же «Тошибой» произошла в Нью-Йорке, в весенние каникулы 1993 года. Я приехал из Лос-Анджелеса, чтобы поработать с Мишей Ямпольским над предисловием к нашей книге о Бабеле, но остановиться должен был у других знакомых. В автобусе по дороге из аэропорта я долго вчитывался в маршрут, определяя, где оптимальнее пересесть на такси. На какой-то остановке уже в центре Манхэттена, где

сходили многие, увидев в окно свободное такси, я выскочил, остановил его, получил свой саквояж из уже открытого шофером нижнего багажника и уселся в такси. Но в ту секунду, как автобус отъехал от остановки, я сообразил, что мой компьютер, который я нарочно не сдал в багажник, а держал при себе, так и остался на полке над моим сиденьем! Что было делать?

— Follow that bus! — закричал я водителю.

На эту невольную цитату из типового полицейского фильма водитель реагировал как-то бестолково. Мне пришлось несколько раз повторить свою команду, автобус тем временем завернул за угол, загорелся красный свет, и мы окончательно потеряли его из виду. Далее выяснилось, что таксист не только плоховато понимает по-английски, но и не знает автобусных маршрутов, да и города вообще. Он оказался поляком, приехавшим в Штаты совсем недавно.

Так была достигнута низшая точка моих несчастий, после чего дело могло пойти только к лучшему. Если в американском фольклоре полякам отведена типовая роль идиотов, то в советской диссидентской культуре Польша, напротив, была окружена западническим ореолом. Поэтому я бывал в Польше и в свое время прилично выучил польский. Мобилизовав эти полузабытые ресурсы, я срочно подружился с таксистом и обрел в его лице преданного оруженосца, всей душой включившегося в мои розыски Святого Грааля в ночном Нью-Йорке. Мы подъезжали к остановкам и

отелям, я выбегал, расспрашивал прохожих и портье, такси ждало или следовало за мной... Наконец, мне объяснили, где есть надежда перехватить аэропортовый автобус, таксист остался ждать в каком-то неммыслимом заднем дворе, а я, — оставив в машине вещи (!), — побежал к указанной конечной остановке. Стоявший там автобус оказался не тем, зато следующий же подошедший был мой, я еще издали узнал водителя. Он открыл мне дверь, я объяснил, в чем дело, вошел в совершенно пустой салон, бросился к знакомому сиденью, дрожа от волнения, протянул руку на полку и нащупал свою «Тошибу» — свою мольеровскую кубышку, гоголевскую шинель, зощенковскую галошу, свой луидефюнесовский чемоданчик!

4. «Алик, Алик, это я, Коля!!!»

Наверно, наиболее красноречивый сюжет на тему самограбления развернулся летом 1972 года на озере Валдай. Сначала собралась большая компания, целый палаточный лагерь; мы купались, катались на привезенных мной байдарке с парусом и маленькой поддувной яхточке «Mewa». Я прожил там подряд пару недель, другие приезжали и уезжали, и постепенно разъехались все, кроме оставшихся покатаваться до упора, а потом помочь мне с разборкой и вывозом вещей Коли П. и Лены Г. Но удовольствие от последнего дня было испорчено тем, что в нашей бухточке поставила палатку какая-то сомнительная компания, сразу внушившая мне опасения насчет неприкосновенности имуще-

ства. К вечеру байдарка была уже разобрана и лежала в мешках около палатки, «Мева» же была всего лишь вытащена на берег, невдалеке от нашей палатки и по возможности подальше от вражеской, откуда доносился шум пьянки. Мы улеглись, мужчины по краям, дама посередине. Коля и Лена мгновенно заснули сном праведников, и даже я начал кое-как задремывать, но время от времени пробуждался, чтобы бросить бдительный взгляд на берег. В лунном свете яхточка смотрелась эффектно. В другой палатке постепенно угомонились; забылся сном, наконец, и я.

Впрочем, забылся не то слово, ибо сон, который вскоре стал мне сниться, навязчиво держался все той же тематики. Мне снилось, что под противоположный край палатки каким-то образом подлез вор с ножом в зубах, — сон архетипический и, возможно, навеянный сходным эпизодом из «Серебряных коньков», любимой книги моего детства. По примеру одного из ее героев (сейчас посмотрел: Петера), я решил встретить опасность лицом к лицу. Я пополз ему навстречу, набросился на него и двумя руками принялся его душить, в чем более или менее преуспел. Из его горла уже доносились какие-то нечленораздельные — предсмертные? — хрипы, но вдруг он зашевелился, звуки сделались громче, сложились в слова: «Алик, Алик, это я, Коля!!», и я проснулся. Оказалось, что я лежу на Лене, ни живой, ни мертвой от страха, сомкнув пальцы на Колином горле.

Мало-помалу мы успокоились, посмеялись, последний раз убедились в сохранности яхты, уснули. Но через какое-то время я встрепенулся, хотел взглянуть на берег — и тотчас услышал ясный, без признаков сонливости голос Коли:

— Алик, все в порядке, я наблюдаю.

«Меву» не украли, и я еще много лет катался на ней на озере в Купавне, где мы с Таней снимали дачу, а уезжая, оставил ее другой Тане и ее сыну Сереже. (Он потом стал настоящим яхтсменом.)

Вообще, оказалось, что деньги и вещи нельзя не только унести в могилу, но даже и увезти в эмиграцию. Пришлось бросить квартиру, раздать мебель, отказаться от вывоза старых книг, а вывезенные делить потом при разводе, в ходе которого бросить уже целый дом, да и потом несколько раз наживать и делить имущество. Видимо, связи связями, но смежность это всего лишь смежность и, как сказал поэт, еще сильнее тяга прочь, и манит страсть к разрывам. К осознанию этого особенно хорошо приходить в мире частной собственности.

Западное кино

Уже самые ранние кинопечатления были от западных фильмов. Где-то лет шести — от диснеевского «Бэмби».

В одной незабываемой сцене ноги олененка разъезжаются на льду во все стороны, и живот оказывается прижат к поверхности в невольном

двойном шпагате. Какие-то дружественные зайцы пытаются то с одной стороны, то с другой подпереть его ноги, но безрезультатно.

Тут я, по рассказам мамы, стал всхлипывать:

— Ведь ясно же, что он никогда не встанет!..

Помощные звери тем временем сорганизовались, налегли со всех четырех сторон, и поставили Бэмби на ноги. Но в памяти отпечаталась картина отчаянного бессилия.

(А недавно я впервые посмотрел «Книгу Джунглей» и пришел в полный восторг. Но поделившись этим со своим американским аспирантом, услышал, что Диснея любить стыдно — типичная голливудская жвачка.)

После войны показывали множество трофейных фильмов, в том числе бесконечного «Тарзана», и московские дворы несколько лет оглашались подражаниями его сигнатурному зову с додекафонными переливами.

Все помнят стремительные перелеты Тарзана на лианах и спринтерскую погоню за косулей, но меня больше всего поразили его подводные пируэты в одной из серий, тронувшие своей, как бы это сказать, немужественностью. Тарзан плавает там вместе с Джэн, в порядке отдыха, и потому не по прямой, взрезая поверхность бурным кролем или баттерфляем, не на скорость, как профессиональные пловцы, а медленно кружа, как бы вальсируя под водой без единого всплеска (завораживала и сама аквариумная съемка). Это было тем более эффектно,

что Тарзана играл чемпион мира по плаванию Джонни Вайсмюллер, атлетический гигант, от которого такой преждевременной политкорректности ожидать не приходилось.

(Много лет спустя пронеслась весть, что он разбился о подводные камни где-то в Мексиканском заливе, соревнуясь с местной малышкой в нырянии за жемчугом.)

А году в 62-м в Москве демонстрировался документальный фильм «Америка глазами француза». Фильм был полнометражный, цветной, брызжущий красками, энергией и здоровьем, доверху набитый небоскребами, автомобилями, горными и водными лыжами, скутерами, яхтами, рок-н-роллом, загорелыми телами на тихоокеанских пляжах... Стояла оттепель, и поглядеть на завлекательную Америку нам дали, но все же лишь глазами француза. Фильм был по-европейски утонченный — об Америке глупой, примитивной, дикарской, но я и по такой взгрустнул по ней. Когда я вышел из кинотеатра, Пушкинская площадь показалась черно-белой.

Мне было 25 лет, и мысль об эмиграции, правда, в сугубо виртуальном плане, меня, конечно, посещала. Но после фильма я надолго выбросил ее из головы. Было ясно, что я безнадежно опоздал — что в эту молодую, динамичную, праздничную жизнь мне, человеку, совершенно уже сложившемуся, соваться нечего.

(На подготовительное помолодение ушли следующие полтора десятка лет, но по переезде в

Америку, особенно в Калифорнию, процесс пошел быстрее. Таким старым, как на том сеансе, чувствую себя лишь изредка.)

Мат в четыре хода

Как клопы провербиально ползут в приличную квартиру от соседей, так непристойностям мальчик из хорошей семьи научается от ребят с улицы. Впервые это произошло со мной в эвакуации, в четырех-пятилетнем возрасте, на ВИЗе, где авторитетами по всем вопросам для меня стали заводские Витька и Вовка.

— Папа! А что быстрее? Если трамвай поедет или если Витька изо всех сил бросит камень?

Витька и Вовка не только бросали камни, но и матерились с заразной непринужденностью, и обе привычки сохранялись у меня первое время по возвращении в Москву (в августе сорок третьего). Я бил стекла в нашем солидном кооперативном доме и к ужасу родителей поражал интеллигентных гостей фейерверками мата.

Но еще до поступления в школу это прошло — забылось начисто, как забылись начатки немецкого, которому меня учила папина мама «тетя Роза» (бабушкой она именоваться не желала), когда, болтая то ли корью, то ли скарлатиной, я, как в изоляторе, жил у нее). Немецкий я потом плоховато выучил в университете, матом же — вместе с распознаванием социальных ситуаций его примени-

мости — быстро овладел еще в школе и родителей им больше не беспокоил.

Следующий качественный скачок произошел почти тридцать лет спустя. Роль соседского хулигана-сквернослова сыграла на этот раз юная, на 15 лет моложе меня, красотка, с которой у меня был бешеный роман горячим летом 1972 года. Она была из богемных, слегка подпольных, киношно-художественно-поэтических кругов, где матерились с интеллектуальным шиком и без каких-либо гендерных различий. Мне пришлось трудно. С пониманием, естественно, проблем, не было, прозвище же долго не давалось — при дамах слова буквально застревали в горле, я стыдливо краснел. Надо мной смеялись. Но чего не сделаешь ради любимой женщины, да и почему бы не овладеть еще одним языком культуры, еще одним светским этикетом? Вскоре дело пошло на лад, и я заговорил неотличимо от аборигенов.

Кстати, это была компания, где вращался Лимонов. Я сразу оценил его стихи, а когда в 1979-м из-за границы появился «Эдичка», — и прозу. Встречи продолжились в эмиграции, я писал о нем — и о стихах, и о прозе, но не о той революции, которую он произвел в русском литературном языке введением мата и которая с тех пор победила полностью и окончательно.

Фокус состоял в употреблении «нестандартной лексики» не только в речи персонажей, по сексуальным поводам и ради эмоционального усиления, но и в самых, так сказать, метафизи-

ческих целях (пушкинская параллель здесь пропорциональна):

«В русской эмиграции — свои мафиози... Мафиози никогда не подпустят других к кормушке. Хуя. Дело идет о хлебе, о мясе и жизни, о девочках. Нам это знакомо, попробуй пробейся в Союз Писателей в СССР. Всего изомнут. Потому что речь идет о хлебе, мясе и пизде» («*Это я — Эдичка*»).

«Восстановили нас против советского мира наши же заводилы, господа Сахаров, Солженицын... Ну мы и хуйнули все в западный мир, как только представилась возможность. Хуйнули сюда, а увидев, что за жизнь тут, многие хуйнули бы обратно..., да хуй-то» («*Это я — Эдичка*»).

«Внезапно, прилетев из прошлого, перед ним, заслонив молодые деревья и корты, появилась ее пизда меж раздвинутых ног... У некоторых она розовая, у других — красная, у Мэрэлин, вспомнил он, серая. Знаком американского доллара, расклеившись, пизда Мэрэлин висела в небе, и сидели, как в кинозале, глядя на нее, Эдвард и Мэрэлин. За десять лет пизда не состарилась нисколько, но задорная испуганность исчезла с лица пизды. Ее сменило выражение подавленной испуганности. Можно было безошибочно угадать, что это пизда жены индустриалиста, матери двух мальчиков, а не пизда Мэрэлин по кличке «Балерина»» («*Дождь*»).

«Лицо пизды!» Лимонов повлиял на меня во многом, в частности, и в этом. В свои филологические и мемуарные тексты я стал вкраплять матерные цитаты. На фоне интеллигентного контекста они, надеюсь, смотрятся неплохо. Но виртуозной полифонии мата от первого лица мне учиться и учиться.

Пока что, в порядке первого урока, я усилил выразительность одного из приведенных пассажей — как бы это сказать? — на один хуй. Вот, кстати, задачка по стилистике для читателя.

А и Б

Поступив на филфак (1954 г.), я обнаружил среди студентов своей английской группы соученика по школе, Витю С. По школе, но не по классу: он учился в классе «а», заповеднике гениев, а я — в плебейском «б», где к гениям отношение было подозрительное. Как-то раз наша классная руководительница тоном выговора заметила мне, что по своему складу я больше подхожу к «а», и она может позаботиться о моем туда переводе, понимай — изгнании. Дело это, однако, дальше не пошло, и я окончил школу, хотя и с золотой медалью, но с неизбывной печатью класса «б».

Началось все это тем летним днем 1944-го года, когда мама повела отдавать меня в школу. Поступавших в первый класс было много — более двухсот человек, которых, наскоро прики-

нужен уровень их умственного развития, распределяли по классам, от «а» до «д». Завуч спросила маму, считает ли ребенок до ста. Мама, поколебавшись, ответила утвердительно, полагая, что со сложением и вычитанием в пределах ста я как-нибудь справлюсь; насчет умножения и деления полной уверенности у нее не было. Завуч, имевшая в виду всего лишь умение продекламировать числовой ряд: «один, два, три... девяносто девять, сто», покачав головой, зачислила меня в 1-й «д», и вся моя школьная жизнь прошла среди хулиганов и двоечников, которые, впрочем, неуклонно отсеивались, так что к выпускному финишу пришло два класса по тридцать человек — 10-й «а» и 10-й «б».

Общность школьного происхождения сближала нас с Витей, и на факультете мы первое время держались вместе. Мужское население филфака немногочисленно, зато каждый считает себя гением и культивирует свою оригинальность. Вите это давалось без труда. У него были большие, красивые, но разные глаза — один коричневый, другой зеленый. Уже в школе он носил костюм и галстук. Он курил трубку и умел пить коньяк (его отец был директором — метрдотелем? — ресторана). Он непринужденно перемежал свою речь словами «душа моя» и «голуба». Курокам он не готовился, лекции пропускал, был невозмутим и молчалив, а когда высказывался, то ронял что-нибудь уайльдовское. Как-то позднее, курсе на втором или третьем, он сообщил мне, что только что разошелся

со своей подружкой, и на мой вопрос, где же она, произнес: «Оне пошли бросаться под машины».

На филфаке было принято, что кафедры вывешивали темы предлагаемых курсовых работ у входа на четвертый этаж (мы учились в старом университетском здании, Моховая 11). Стены напротив лифта, сами двери этажа и стены коридора за дверьми были покрыты листами бумаги с отпечатанными на машинке названиями тем. Меня, зеленого первокурсника, эти списки и страшили, и влекли, — я читал в них вызов своему честолюбию.

— Витя, — сказал я, — давай пойдем на кафедру, выберем темы...

— Зачем, душа моя?

— Как зачем? Чтобы попробовать свои силы в науке, добиться результатов, завоевать уважение...

— Это тебе, душа моя, чтобы уважать себя, нужно писать курсовую, а я себя, голуба, и так уважаю.

Ни на какую кафедру мы тогда не пошли, без курсовых же, разумеется, не обошлось. Впрочем, филологом Витя не стал (это особая история), психологом же оказался неплохим. До сих пор я все что-то пишу, стараясь заслужить собственное уважение, но с переменным успехом, ибо ходить «на кафедру» так и не научился и попрежнему обретаюсь в разного рода учреждениях класса «б», — хотя, вроде бы, больше подхожу к «а».

Против инварианта не попрешь.

Comrades Petrov and Smirnov

Лекции по грамматике нам читала О. С. Ахманова. Практические занятия по языку вели рядовые преподаватели, но в научные дебри они не пускались. Это была прерогатива Ахмановой, вдовы самого «Александра Иваныча» – А. И. Смирницкого. Анна Константиновна Старкова, которая вела нашу группу, говорила:

– What I teach you is how to speak English. And then Olga Sergeevna will come and give you all kinds of theories. («Я учу вас, как говорить по-английски. А потом придет Ольга Сергеевна и обучит вас разным теориям».)

Ахманова говорила на изысканном литературном английском, с большим количеством слов латинского происхождения. Лекции она читала с закрытыми глазами. В ее случае эта наглядная демонстрация свободного владения материалом имела, как я узнал несколько позже, особую подоплеку: считалось, что при опущенных веках не так быстро образуются морщины в уголках глаз. Для нас же это означало возможность безнаказанно заниматься посторонними делами.

Однажды по ходу лекции она сказала что-то остроумное и открыла глаза, чтобы насладиться реакцией. Но оказалось, что ее не слушают: одни спят, другие делают домашние задания. Ее острота упала в совершеннейшую вату.

– Now, comrades, – сказала Ахманова, – when I am trying to be witty, I expect you to laugh. («Товарищи, знаете ли, когда я пытаюсь остроумить, я ожидаю, что вы засмеетесь»).

Таково было первое на моем жизненном пути явление английского юмора.

Как-то раз Ахманова раздавала курсовые работы по языку Шекспира. Юра Щеглов был рад случаю заново перечитать все пьесы в поисках какого-то там предлога или типа сложных слов. Володя Л., напротив, был готов к научным изысканиям лишь в пределах «Отелло». Оценив ситуацию, Ахманова сказала:

– All right then, comrades. Comrade L. shall concentrate on «Othello». As for comrade Shcheglov, I feel I am under the necessity to ask him kindly to confine himself to non-Othello («Отлично, товарищи. Пусть товарищ Л. сосредоточится на «Отелло». Что же касается товарища Щеглова, то я чувствую, что я вынуждена буду просить его ограничить свои усилия не-Отелло»).

Настойчивое comrades здесь не случайно. Я до сих пор помню (и иногда рассказываю своим американским студентам), что одной из первых прочитанных мной в Университете английских фраз было: «Comrades Petrov and Smirnov went to the dining-room» («Товарищи Петров и Смирнов пошли в столовую»). При этом, под dining room, что по-английски означает столовую комнату в частном доме, то есть, столовую в смысле профессора

Преображенского, по-шариковски имелась в виду столовая общественная.

Так или иначе, мы научились прилично читать, писать и говорить по-английски, чем впечатляли своих сокурсников с русского отделения. («Ты как — читаешь и сразу переводишь?» — спрашивали они.) Что хромало, так это произношение, вопреки усилиям нашей фонетички. На ее требования упражняться в тонкостях английской артикуляции я отвечал:

— Ирина Федоровна, ну зачем мне это? Ведь мне же никогда не придется притворяться американцем?!..

Диккенс, Ивлин и мы

Преподавательница языка Анна Константиновна была здравая и доброжелательная женщина, без особых интеллектуальных претензий, зато не интриганка, не проработчица, по-видимому, даже не стукачка. Мы ей доверяли.

У нее было простоватое — в молодости, наверно, хорошенькое — лицо; волосы не седые, возможно, крашеные, уложенные перманентом, как на фото в окнах парикмахерских. Она носила серый в полоску костюм — с трудом сходившийся на располневшей фигуре жакет с юбкой — и кружевную блузку. Ее английского произношения не помню. Язык в МГУ преподавался «оксфордский», но выучила она его, судя по ее рассказам, работая переводчицей при амери-

канских специалистах на строительстве Сталинградского тракторного завода.

Сколько ей было лет? Со времен СТЗ прошло тогда два страшных десятилетия, о которых она не распространялась. Пожалуй, ей не было пятидесяти. На пенсию она вышла уже после нас, причем не сразу. Но потом быстро сдала, стала болеть и умерла не очень старой, лет шестидесяти с лишним — в моем теперешнем возрасте.

Она жила недалеко от меня, в районе Площичи, и я изредка навещал ее. В 1964-м она еще была жива, я брал у нее сборник английских новелл ужасов (*A Century of Creepy Stories*) — растрепанный том в твердой зеленой обложке, с рассказом, в котором что-то важное подслушивалось через длинную трубу, некогда проведенную из дома в сад. Этот сюжетный ход запомнился, когда А. К. давала мне книгу еще в Университете, и теперь подлежал использованию в статье «Deus ex machina».

Я рассказывал А. К. о своих научных занятиях и предлагал приносить английские книги, но она неизменно отказывалась, говоря: «I have my Dickens» («У меня есть мой Диккенс»).

Эту фразу я вспомнил, когда Юра Щеглов, в свое время студент той же группы, сравнил нашу судьбу профессоров русской литературы в Америке с финалом «Пригоршни праха» Ивлиина Во, где главный герой, опустившийся на дно жизни английский аристократ, обречен вновь и вновь читать полного Диккенса вслух своему хозяину, дер-

жащему его в плену в джунглях Амазонки. Я вспоминаю ее также каждый раз, как позыв ознакомиться с оригиналом, возникающий при чтении рецензий на книжные новинки, будь то русские или американские, вянет на корню.

... Что еще? Заголовок — подражание поразившему меня полвека назад эйзенштейновскому «Диккенс, Гриффит и мы», типично американскому; по-русски таких «... и мы», «... и я» на моей памяти не делали. А почему душе простой советской выдвигенки, переводчицы на СТЗ, старшей преподавательницы проваренного в чистках, как соль, МГУ, был близок именно Диккенс, — вопрос, как говорится, на засыпку.

Троянской войны не будет

«Спецподготовку» студенты-гуманитарии второй половины 50-х годов — будущие пехотные офицеры запаса — проходили на спецкафедре. Это стыдливо-секретное наименование не мешало ее преподавателям рассказывать в военной форме, стуча сапогами, но оно же выдавало неожиданное пристрастие к таинствам Слова. Сказывалось и наступление «оттепели», явившейся на свет, подобно Афине, логоцентрическим способом. И вообще, давала о себе знать подозрительная разговорность всего этого военного дела.

— Филологи мне как-то ближе, — начал первое занятие по тактике молоджавый капитан Кирил-

лов, выпускник иностранного факультета военной академии.

Журя студента за неумелую разборку оружия, он приговаривал:

— Это вам, Аркадьев, не перевод из Бернарда Шоу!

Но и сама разборка — операция, требовавшая простейших ремесленных навыков, — содержала шикарный филологический компонент. Надо было не просто разбирать и собирать винтовку, но и последовательно называть ее части: «ствол», «затвор», «газовая камора» (а не, упаси Боже, «камера») и производимые над ними действия: «легким постукиванием отделяем»... (что от чего, не помню, но «легкое постукивание» незабываемо).

В случае винтовки декламация хотя бы имела мнемонический смысл, но иногда ее гипостазированная вербальность выступала в чистом виде.

— Что т'аа-кх'оэ наз'вается фвыстрелл? — в одной руке держа указку, а другой поглаживая свой бритый череп, вопрошал с лекторской трибуны полковник Бицоев.

И тут же отвечал:

— Фвыстрелл наз'вается выбрасывание боевого снаряда из ствола огнестрельного оружия под действием быстрого расширения газов в газовой каморе.

В армейской практике, учитывая разноязыкую малограмотность солдатского контингента, эти словесные упражнения, возможно, выполняли

цементирующую образовательную функцию, но нас они настраивали на издевательски коллекционерский лад. Было очевидно, к тому же, что схоластическими дефинициями подменялась реальная подготовка, ибо оружие нам выдавалось самое элементарное и устаревшее, стрелять нас не учили, а занятия тактикой на ящике с песком — этом миниатюрном театре военных действий — носили отчетливо условный, сценарный характер:

— Новые вводные [то есть, в переводе на язык Станиславского, новые предлагаемые обстоятельства]. В 12:00 войсками одной иностранной державы был нанесен тактический ядерный удар по району.. Наши части в составе двух рот при поддержке танков закрепились на участке.. Ваше решение, товарищ командир!..

Возглавлял кафедру, как водится, генерал — с надежной, образованной от простонародного мужского имени фамилией Данилов. Он выглядел внушительной, но почти полной развалиной — большой, лысеющий, с желтым, видимо, из-за расстройства печени, лицом и одышливой походкой. В классе он появлялся, только когда надо было заменить заболевшего преподавателя. До специальных тем он не снисходил, полагая, что его рангу приличествует жанр высоких военно-философских откровений.

— Знаете ли вы, что такое война? — начинал он.

— Войны не будет, товарищ генерал, — подавал кто-нибудь голос. — Ведь мы за мир, товарищ генерал.

— Наслушались хрущевской хуйни?! Будет война! Люблю войну!.. Кругом дым, снаряды. Рука летит, нога.. Будет война! Будет! — Ослабев от жестикуляции, он вяло отирал лоб и отпускал нас, не дожидаясь звонка.

Какое-то количество рук и ног в дальнейшем действительно полетело, но большая война «с одной иностранной державой», мизансцены которой были столь тщательно разработаны, не состоялась. Как, уже переселившись в эту державу, я узнал из тезисов некой деконструктивистской конференции по политологии, ядерная стратегия двух военных блоков имела строго дискурсивную природу, строясь по несложной схеме интериоризованного диалога: «Если мы нанесем такой удар, вы ответите таким; тогда мы такой, а вы такой; потом мы так, а вы так... Не-а, не стоит».

Уж не филология ли, разъев милитаристский костяк, спасла мир?

Надзирать и наказывать

«Хижину дяди Тома» я не читал, но в детстве был на спектакле, финал которого помню. Сцена погружалась во тьму, и — находка режиссера! — луч юпитера высвечивал лицо главного негодяя-рабовладельца, а в репродукторы на весь зал звучал голос рассказчика: «Запомни это лицо — лицо врага!»

За сравнительно долгую уже жизнь я повраждал вдоволь: со многими отдельными лицами и

с целой общественной формацией. Формацию я более или менее пережил, из недругов одних уж нет, а те далече, с некоторыми помирился, с другими разошелся, о третьих пописываю иногда не без яда, но ненависти не испытываю ни к кому. При мысли о «лице врага» в памяти всплывает лишь один образ полувековой давности.

Ольга Николаевна Михеева работала агитатором нашей английской группы первого курса романо-германского отделения филологического факультета МГУ. Должность это была общественная, не оплачиваемая, но властью облекала немалой: агитатор являл собой внештатного политкомиссара. По своим прямым обязанностям Ольга Николаевна была — не у нас — преподавательницей немецкого языка, к нам же была приставлена именно воспитывать. Плоды ее воспитания я ощущаю и сегодня.

Она взялась за дело без промедления — устроила небольшой политический процесс. В первый же месяц она поссорила «мальчиков» с «девочками», обвинив первых в невнимании ко вторым. Каждого/каждую из нас она обрабатывала отдельно, ведя долгие партийно-доверительные беседы. Мы оправдывались и сопротивлялись как умели, но умели еще не очень. Вскоре в университетской — не меньше! — многотиражке появилась инспирированная ею статья, в которой особому поношению предавались индивидуалисты Жолковский и Щеглов. «С кем хотим, с тем и дружим, — вызывающе заявляли они».

Но официального осуждения (кажется, выносились и какие-то выговоры по комсомольской линии) ей было мало. От нас требовалось морально разоружиться. Как О'Брайен в романе Оруэлла (вышедшем всего пять лет назад и нам еще не известном), мы должны были полюбить Старшего Брата. После лекций она вызывала меня на долгие прогулки вокруг Манежа, расспрашивала о моей домашней жизни, о недавней смерти мамы, о дружбе с Юрой Щегловым, втиралась в душу всеми возможными способами. В ходе этих, выражаясь по-хлебниковски, свиданий меня с государством, я не давал прямого отпора, изворачивался, полукровенничал, полусдавался, потом, устыдившись, полулез на рожон и лишь постепенно понял, что к чему, и оброс защитной коркой. Лицо врага запомнил.

Оно было хрестоматийное: глазки, как оловянные пуговицы, насупленные тонкие брови, поджатые губы бантиком. Ее хорошо играет Луиз Флетчер в «Гнезде кукушки». (Родители Формана погибли в немецком концлагере, сам он в 1968-м остался на Западе.) Ольга Николаевна была нестарая женщина, и ходили слухи о ее связи с ужасным партторгом факультета — инвалидом войны по прозвищу Трехногий, пьяницей, замахивавшимся на неугодных студентов костылями. Но мне казалось неинтересным подшивать это к делу. Того, что она со мной вытворяла, было достаточно, чтобы ненавидеть.

Что двигало ею? За проведенную работу ей, конечно, ставилась какая-то галочка, но вряд ли это было главное. Возможно, она искренне не любила умников. Возможно, вступаясь за «девочек», она изживала какие-то собственные травмы. Но прежде всего она была садисткой — с мандатом. Мандат к садизму не обязывал, он его только разрешал. Но этого было достаточно, чтобы мучить.

Она мучала, я ненавижу. Наверно, за то, что в свое время с ней не справился, и выстрел остался за мной.

Обычно я изменяю имена, а то и пол, своих отрицательных персонажей, но ее называю по имени отчеству, фамилии и профессии. Это может быть неприятно ее, так сказать, ни в чем не повинным родственникам, детям, внукам. Почему же я это себе позволяю, и в каком смысле «так сказать»?

Она была, как говорится, типичной нацисткой, но денацификации в России не произошло. Ее не судили, она не признавала своей вины, не просила у меня прощения, и дети (если они есть) не просили за нее. Для них она, возможно, была любимой и любящей матерью, но это бывает и у нацистов. (Ноги на фронте они тоже теряли.) В отличие от нацистских, дети Ольги Николаевны, скорее всего, не подозревают, кем была их мать. Денацифицировать ее приходится мне. И повинны эти дети именно «так сказать» — до тех пор, пока не признают ее виновной. Но тогда и обижаться им придется не на меня, а на маму.

Впрочем, верится в это с трудом. Только что вышла книга о детях нацистских лидеров — Геринга, Гимmlера, Бормана, Гесса и др.* Она называется «Сторож отцу своему» — потому что сыновья и дочери с нежностью вспоминают свое счастливое детство, заботливых родителей и бездетного, но чадолюбивого дядю Адю, и верны их героической памяти.

Как это может быть? А очень просто. Мало ли, что нацизм был повержен на полях сражений и осужден в Нюренберге?! Это только подтверждает нацистский тезис, что сила — право. Ведь одним из победителей был Сталин (с дочкой ему, правда, не повезло), а одним из обвинителей — Вышинский.

... Виньетке что-то не хватает положенной амбивалентности, одна плакатная ненависть. «Лицо врага»! Не лучше ль на себя, кума, оборотиться? Жертва преступления, прокурор, защитник, судья, 12 разгневанных присяжных и тюремный надзиратель — все в одном лице. Хороша демиксификация!..

Деревенская проза

Воспоминания о добровольно-принудительных поездках в колхоз, особенно полвека спустя и в

* Stephen and Norbert Lebert, «My Father's Keeper. Children of Nazi Leaders: An Intimate Story of Damage and Denial».

ореоле бахтинского карнавала, у меня не самые плохие. Это было, что называется, очень познавательно в житейском, а главное, филологическом смысле. К тому же, мужчины в колхозе, как и на филфаке, редкость, и мы ценились вдвойне.

Нас с Юрой Щегловым стал сманивать к себе на грузовик шофер «дядя Коля».

— Что вы там с девками заработаете на прополке-хуёлке? — Он назвал копейки, положенные за трудодень в поле. — А у меня ездка — рубль.

Убедил нас не столько коммерческий расчет, сколько перспектива месяц прокататься с ветерком вдаль от коллектива. И, конечно, соперничество с приятелем по английской группе Володей Аркадьевым, уже определившимся в грузчики на другую машину.

Дядя Коля был солидный, с седоватой щетиной семьянин («старик лет сорока», написал бы Толстой). Дионисийское начало в бригаде представлял местный грузчик «дядя Миша», здоровый парень в черном ватнике, однажды уже отсидевший, а теперь снова арестованный и временно выпущенный в ожидании суда, кажется, за убийство. Он много матерился и то и дело затаскивал дядю Колю в попутные чайные. В результате, за день выходило не больше одной-двух ездок. Коммерция страдала, но мы прекрасно проводили время, лежа в кузове или на травке и беседуя о том о сем.

Из дяди Миши помню одну фразу — в пользу пива против минеральной воды: «Вода плотину рвет». По неопытности я принял эти слова за на-

родную мудрость, но постепенно убедился в их урологической некорректности. О вкусах же, разумеется, не спорят.

Дядя Коля был более аполлоничен — за машину отвечал он. Как-то утром, явившись на работу, мы застали его у грузовика с поднятым капотом. Оглядев окрестный пустырь, дядя Коля сказал:

— Принеси-ка мне вон ту хуйню.

Проследив за его взглядом, я вопросительно указал пальцем на небольшую железку, он кивнул, и я, в амплу ученика-подмастерья, притащил ее. Дядя Коля стал ковыряться в двигателе, а мы с Юрой обсуждать феномен «хуйни». В жизненном плане поражала органическая, так сказать, подножная укорененность советской техники в ландшафте, с гарантией поставляющем все необходимое для ремонта. Лингвистическим открытием было употребление слова, до тех пор воспринимавшегося как абстрактное существительное (типа «болтовня»), в предметном значении (в котором нормативной представлялась «хуёвина»).

Самый яркий эпизод нашей грузчицкой жизни был связан со срочным отвозом на мясокомбинат двух заболевших свиней. Их было трудно грузить и еще труднее сгружать — за время поездки они как-то нехорошо посинели и сами уже не шли.

Встречать их вышли две женщины в белых халатах.

— Ветеринары или техники? — спросила одна из них. Она приняла нас за студентов-практикантов.

— Техники, — бодро ответил я, полагая, что от ветеринаров может потребоваться слишком много.

— Померьте температуру. — Она протянула мне градусник.

Детали публично проявленной мной неосведомленности в выборе отверстия я опускаю.

Так или иначе, приемка состоялась, и, подталкиваемые нами, полумертвые свиньи сделали первые шаги к превращению в мясопродукты.

Вечером Володя, выслушав наш рассказ, припечатал с фольклорной краткостью:

— По людям — и свиньи!

-жж-

В первые же университетские каникулы (зимой 1954/55 г.) я поехал в студенческий дом отдыха «Широкое», где подружился с соседями по комнате — историками пятого курса. Вдвоем с одним из них мы как-то отправились на лыжах в далекое село за выпивкой.

Любителям лыж, велосипеда, гребли и других спортивных, но устарелых способов передвижения знаком особый кайф их практического применения. В мире Джеймса Бонда он взбивается до суворовских масштабов лыжной погони через Альпы, в мире рядового человека — одухотворяет скромную поездку на велосипеде за хлебом (на лыжах за водкой; на лодке за керосином; и т. п.). Супермен по мере использования легко расстает-

ся со своими лыжами, аквалангами и арабскими скакунами, перед эврименом же, особенно российским, встает проблема сохранности транспортного средства. В первую очередь это касается лыж и велосипедов, идеально подходящих для угона.

Около магазина мы сняли лыжи, огляделись, и не видя признаков опасности, стали прислонять лыжи к стенке. Случившийся рядом мужик сказал, образцово окая:

— Лыжи-то не становь — спижжут.

В память, однако, врезалось не столько двойное «о», сколько двойное, точнее, тройное, «ж», — в согласии с известным положением структурной поэтики, что важна не звукопись сама по себе, а ее смысловая иконика. Как в анекдоте про проститутку, работающую теперь с писателями и объясняющую своей бывлой уличной коллеге, что такое «пенис» (примерно то же, что «хуй», только мягче), — «спижжут» это, в сущности, карамзинское «воруют», только иконичнее.

Постой, паровоз...

Стажировку в военном лагере после 4-го курса (лето 1958 г.), филологи проходили вместе с журналистами, из которых мне навсегда запомнился вирильный Валера Кузьмин.

Валера был боксер, с мощным торсом, шеей и бицепсами, с маленькими глазками, низким лбом и блатным выражением лица; очки, узкие, в железной оправе, не спасали. Но его блатные мане-

ры и интонации излучали не столько угрозу, сколько обходительность, и венчалось все это пением под гитару, собиравшим вокруг Валеры толпу почитателей, меня в том числе.

Блатные песни уже тогда — до Высоцкого — пелись достаточно широко, неся дозволенную антисоветскую и контркультурную дозу, и Валера был, в своем кругу и масштабе, признанным мастером жанра. От него даже я, лишенный музыкального слуха, кое-чему научился. Может быть, потому, что Валера как-то выделял меня, ища моего интеллектуального союзничества не меньше, чем я его — компанейского, силового, витального.

В его репертуаре были такие песни, как «Воровку не заделаешь ты прачкой...», «Вот мчались мы на тройке, хуй догонишь...», «Постой, паровоз, не стучите, вагоны...» (вскоре растиражированная), и университетские частушки, вроде:

*Мы Шиллеров и Гётев не читаем, да-да,
Мы этих чуваков не понимаем, да-да.
Раз-другой их почитаем,
Как зараза, хохотаем,
Ничего в дугу не понимаем, да-да.*

*Я от МГУ, а ты от Чили, да-да,
Мы были на приеме у Черчилля, да-да.
У него бостон в полоску
И вообще он парень в доску, —
Где они такого зацепили?*

Блатной прононс наводился заунывной назализацией гласных; в унисон с ней постанывали и исконно наличные носовые:

*Постой, паровоз, не стучите-мм вагоны-мм,
Кондуктор, нажми на тормоза-мм.
Я к мамьньке родной с последним поклоном-м
Спешу-мм показаться на глаза-мм.*

За недолгий лагерный месяц Валера стал моим кумиром — одним из чреды мужественных покровителей, помощных волшебников, житейских наставников. Он жил, умел жить, обладал заразительным вирусом жизненности.

Как-то в лагере показывали кино. На открытой площадке рядами поставили скамьи для зрителей, а экран натянули, не помню, то ли просто на открытом месте, то ли на сцене типа раковины. Рядов было много, зрителей сотни и сотни, естественно, одних мужчин в военной форме. Валера просил занять для него место, но долго не появлялся и вынырнул уже из темноты, в самый последний момент — с пальцем, поднесенным к губам (тихо!), и — «с бабой!» В лагере, откуда, казалось бы, три года скачи, ни до какой бабы не доскачешь, это было чудо. Посильнее, чем в «Фаусте» Гёте, ибо Валера обошелся без Мефистофеля.

Потом в Москве мы иногда сталкивались в университетском садике на Моховой, но постепенно я потерял его из виду. А через год мы вообще окончили, и сталкиваться стало негде. Однако я вспо-

минал его с нежностью и как-то спросил о нем у общего знакомого.

— Валера? Умер.

— Как умер!?! Такой здоровяк!

— От менингита. В 22 года.

... С тех пор прошло столько и еще раз столько; я напеваю его песенки и даже пытаюсь вызвать его дух мемуарной каббалистикой. В общем, как зараза, существую, да-да.

Пусть оно меня и моет

Когда после 2-го, кажется, курса, мы были посланы в колхоз, Юра Щеглов поражал всех полным уходом от цивилизации: не брился, не заботился о мытье, ходил в пиджаке, заправленном в брюки (Аркадьев острил, что получается визитка). На советы, как устроиться с мытьем, он отвечал:

— Меня это совершенно не интересует. Я приехал не по своей воле. Государство меня сюда привезло, пусть оно меня и моет.

Однажды, много позднее, он в очередной раз стал обвинять государство во всех своих бедах, включая долги знакомым. Я спросил его, каким образом одолжившая ему три рубля сотрудница — государство. Он ответил:

— Почему Нина — государство?! Потому что... потому что государство — это не я!!

Другое оригинальное определение он дал в письме из колхоза домой: «Мы живем хорошо,

много сачкуем. Сачкование же есть отдых без отрыва от работы».

Иногда на него нападала экзистенциальная тревога.

— Все так бессмысленно, что неясно, зачем жить.

— Ну как же, вот ты занимаешься поэтикой. У тебя к этому явно талант.

— Ну и что, кому это нужно? Никто моих работ не понимает.

— Почему? Умные люди понимают. Вот NN тебя похвалил. Тебя прочтут, оценят.

— Ну, и кому от этого польза, кроме окружающих?

Надо себя показать

Стремление к рiвасу, к тому, чтобы оградить себя от вторжения извне, было характерно для Юры во все периоды и моменты его жизни. В Ленинской библиотеке его раздражали знакомые, подходившие к нему в фойе поболтать.

— Алик, почему они думают, что я в любую минуту свободен для общения с ними?

— Очевидно, потому, что видят, что ты вышел отдохнуть.

— Но из чего они заключают, что разговаривать с ними — это отдых?

Особенно раздражали его многочисленные аспирантки, с несчастным видом проводившие все свое время в библиотеке.

— Алик, зачем они взваливают на себя этот груз? Ведь даже мне — мне! — трудно.

Как-то в другой раз он сказал:

— Знаешь, когда я встречаю на улице С., я весь напрягаюсь. Я мобилизую всю свою память, думаю, о чем бы с ним поговорить, что бы такое конспиративное вспомнить.

Новые формы проблема «я и они» приняла на военной стажировке зимой 1959 г. Прибыв в лагерь, мы все были распределены по ротам и отделениям, а Юра откомандирован в распоряжение замполита батальона полковника Акимова. Первой задачей, возложенной на Юру полковником, было создание Памятной Книги Батальона. В Книгу должны были заноситься рассказы о лучших людях части. Список этих людей и краткие биографические данные были вручены Юре полковником. От Юры требовалось придать им яркую, увлекательную форму.

Сухая анкета, вроде:

«Иванов Иван Иванович, 1937 г. рожд., служил с 1956 по 1958 г., 2-я пулем. рота, отличник боев. и политич. подг., выступал за батальон на дивизионных соревнованиях по борьбе»,

под Юриным пером превращалась в шедевр житейной литературы:

«Невзрачным девятнадцатилетним паренком пришел Ваня в часть.»

— Что это ты, Иваныч, какой шустрый, видать, мало каши ел, — шутили бойцы. — Какой из тебя вояка?!

Ваня ничего на это не отвечал, но упорно работал над собой, повышал боевые и политические знания, занимался спортом. А вскоре, защищая на соревнованиях дивизионных богатырей честь родного батальона, отличник боевой и политической подготовки И. И. Иванов занял призовое второе место.

На таких героев, как скромный Ваня Иванов, должны равняться все солдаты и сержанты нашего батальона!»

Когда с жителями было покончено, Акимов бросил Юру на инвентаризацию библиотеки. В ходе инвентаризации нередко применялась операция списывание — таково, в частности, происхождение и сейчас стоящего у меня на полке «Западного сборника» со статьей Эйхенбаума. Но очередное поручение замполита, хотя оно и оставалось в рамках интеллигентных занятий, оказалось Юре не по плечу. Ему было приказано сделать на собрании батальона доклад о происходившем тогда XXI съезде партии.

— Понимаешь, Алик, я в крайнем случае могу прочитать соответствующие материалы и даже написать текст доклада, но выходить с этим к народу мне бы как-то не хотелось.

— Понятно. Но традиция подобных докладов вовсе не предполагает совмещения составителя и выступающего в одном лице. Как правило, оратор

впервые знакомится с текстом своего доклада уже на трибуне, чем, повидимому, и объясняются многочисленные запинки, оговорки и даже полное незнание с некоторыми из зачитываемых слов. Если ты напишешь текст, то за умеренное вознаграждение, например, за банку сгущенки, я готов прочитать его перед публикой с листа.

Так и было сделано. В момент, когда полковник Акимов объявил, что доклад «О значении внеочередного XXI съезда КПСС» сделает курсант Жолковский, я получил от Юры тетрадку с одноименным текстом и, строевым шагом поднявшись на трибуну, честно отбарабанил написанное от начала до конца. После доклада была совместно разъедена банка сгущенки.

Помимо обязанностей историографа, библиотекаря и политического пропагандиста батальона, Юре, как нестроевому интеллектуалу, была поручена и роль редактора стенгазеты. Он любовно рисовал карикатуры, разоблачавшие нарушителей воинской дисциплины, а я сочинял к ним подписи, вроде:

*Толстых не любит выбирать:
Увидит наволочку – хватъ!
И мигом разорвет в клочки
Себе на подворотнички.
Пусть будет строг наш приговор:
Толстых, ты – просто мелкий вор!*

Особенно горд я был изысканной просодией 4-й строки. Со стороны Толстых я опасался агрес-

сивных действий, но ему, как видно, польстило попадание под лошадь – он то и дело подводил к газете приятелей.

У меня до сих пор сохранилась вырезка из полковой стенгазеты с заметкой на темы батальной жизни – первой нашей совместной публикацией. Вот ее текст:

Надо себя показать

... На-днях в комнату шестнадцати стажеров зашел командир части подполковник Дыбля.

– Что-то у вас стало много больных и увечных, – сказал он. – Начали распускаться.

Правильно. Пора уже подтянуться, пора прыгнуть к крепкому горьковскому морозцу. Ведь мы приехали сюда не болеть, а стажироваться на должность командира взвода. Мы должны не сидеть в своей комнате, а быть со взводом в поле, а после обеда находить время для подготовки к политзанятиям.

И еще кое-что. Хотя нас прислали сюда стажироваться на офицеров, это не значит, что нам нечему поучиться у солдат. Как говорится в нашей курсантской поговорке: «Солдатскую лямку не потянешь, хорошим офицером не станешь». И это надо как следует запомнить. Взять, например, заправку коек. Большинство курсантов из рук вон плохо заправляют койки. Этим товарищам не мешало бы подойти к солдатам, поучиться у них.

И тут мы вплотную подходим к большому разговору о культуре. Разве может научить солдат культуре тот офицер, который халатно, кое-как заправляет свою койку?

Денищиков у нас нет!

... Недавно мы все собрались в Ленинской комнате, чтобы поговорить о нашей стажировке. Разговор получился серьезный, взволнованный. Были и такие голоса: «А не придется ли нам слишком трудно? Все ли выдержат тяготы и лишения военной службы»? И тут кто-то очень к месту вспомнил слова полковника Дворкина:

– Студенты любят говорить, что в нужный момент они себя покажут. Я думаю, товарищи, что такой момент наступил. Надо себя показать.

Так и будет!

Стажеры А. Жолковский, Ю. Щеглов

Фамилии Дыбля и Дворкин – невымышленные, как того и требует документальный жанр. Заметка прошла как будто незамеченной. Но по возвращении на факультет за свое вольное поведение в лагере я поплатился выговором по комсомольской линии с занесением в личное дело. Накануне распределения это практически означало волчий билет. О выговоре постарались друзья-комсомольцы (ныне многие из них – отчаянные демократы). Как мне объяснили тогда же люди более трезвых взглядов, основным двигательным мотивом была зависть ко мне, москвичу с пропиской, комитетчиков из числа иногородних, кото-

рым угрожало распределение на периферию. (Одно дело – говорить о поднятии целины и подъеме национальных литератур, другое – прямо туда и уехать на работу.)

Папа и Юра

1. «Кому интересно, тому не скучно»

Познакомленные мной, они прониклись взаимной симпатией – до какой-то степени через мою голову и как бы вопреки мне.

Папа услышал о Юре, когда я вернулся с предварительного собрания своей будущей университетской группы (август 1954 г.). Я описал участников и рассказал, что на вопрос классной «агитаторши», как кто готовился к началу занятий, один студент, Юра Щеглов, ответил слегка ослабленным голосом, что «перечитал поэтов – Тютчева, Фета...». Всего полтора года спустя после смерти Сталина открытое признание в интересе к подобным авторам было поступком необычным, можно даже сказать, смелым, с налетом диссидентства, и ориентируясь на это и на иронически переданную мной Юрину домашне-мечтательную и уж совершенно не комсомольскую интонацию, папа, в тон мне повторив: «... Тютчева, Фета...», сказал, что Юра Щеглов, наверно, очень умный мальчик и мне следует с ним подружиться.

Так что нашей пожизненной связью мы отчасти обязаны папе.

Юра папу тоже оценил, и прежде всего как эталон Профессора. Когда для публикации первой научной работы ему потребовался отзыв, он обратился к папе. Статья шла в только что основанную серию структурно-типологических исследований Института славяноведения, и в соответствии с ренессансным духом эпохи отзыв мог быть и не от узкого специалиста. Папе статья понравилась, и он охотно написал положительный отзыв, но — с оглядкой на собственный литературоведческий непрофессионализм — аттестовал статью как «во многом блестящую».

Юные остряки, мы тут же подхватили эту аптекарскую формулу, стыдя и смешая папу, и она навсегда вошла в наш иронический словарь. Папа не ударил лицом в грязь и припомнил установочное высказывание завкафедрой марксизма-ленинизма Института военных дирижеров (где коротал годы изгнания из Московской консерватории за космополитизм, 1949-1954) о неудовлетворительности констатации им, профессором Мазелем, приоритета русской музыкальной науки в ряде вопросов: «Приоритет в ряде вопросов — не приоритет. Приоритет есть приоритет».

К папе Юра относился с подчеркнутым почтением, меня же любил проработывать, в частности за «неинтеллигентность». Какую-то роль в этом играл мой реальный облик, какую-то — вообще Юрино недоверие к окружающим, но не последнюю, мне хочется думать, — очевидные риториче-

ческие выгоды образа неинтеллигентного отпрыска профессорской семьи.

Папа тоже был непрочь прибегнуть в спорах со мной к Юриной поддержке. Он любил сочинять поздравительные стишки, с не всегда удачными претензиями на блеск, вообще-то — в разговорах и устных новеллах — ему присущий. Когда я пренебрежительно отозвался об очередном таком опусе, папа апеллировал к Юре. Юра стихи одобрил.

— Да? А вот Аля считает, что они никуда не годятся. Как же так?

— Ну что ж, Лев Абрамович, нельзя отрицать, что стихи... м-м... так сказать... м-м... в традиционном стиле...

Эта формулировка была встречена общим смехом и в дальнейшем всеми троими взята на вооружение.

Сходную дипломатичность Юра продемонстрировал уже в 90-е годы, когда начальственный коллега спросил о впечатлении от его малооригинального доклада. Я наострил уши.

— Должен сказать, — с готовностью откликнулся Юра, — что согласен буквально с каждым вашим словом.

Кстати, оказавшись в связи с этой конференцией в Москве, Юра зашел повидаться с папой и принес черновик статьи, которую намеревался ему посвятить, на что испрашивал разрешения. Папа прочел, согласие дал, но о статье отозвался сдержанно. Юра был разочарован и

попросил меня уточнить папины впечатления, в частности, спросить, не скучна ли статья, и обратить внимание на сходство с его собственными работами.

Папа ответил, что сходство он заметил и оно было ему скорее неприятно. Что же касается скучности, то... нет, наверно, тому, кому это интересно, тому не скучно. Юра огорчился, но оценил горькую профессиональную мудрость обоих соображений. Статья, с посвящением *Льву Абрамовичу Мазелю*, вышла, и папа успел получить оттиск. А после папиной смерти (2000 г.) Юра написал мне, что на меня ложится долг сохранения памяти о нем. Вот — в меру интеллигентности — первые крупницы.

2. «Что, ты не знаешь моего характера?»

Однажды в эвакуации, в Свердловске, когда мне было лет пять, папа должен был срочно уйти и оставить меня одного. Я не отпускал его, боясь грифона — четырехлапой нитяной фигурки, сплетенной в подарок ему кем-то из учениц. Страх держался на легендах, выдуманных, чтобы предохранить сувенир от моих посягательств. Не отменяя действия мифологем, папа тут же объяснил, как мне, в свою очередь, защититься от грифона — магической формулой: «Мы никого не боимся! Мы не боимся зверей!». Уже из-за двери он услышал, как я дрожащим голосом начал выводить: «Мы-гы... нико-во-о... не бои-и-мся-а-а...». А вернувшись часа через два, застал меня лихо кувыркаяющимся на

кровати и дерзко скандирующим: «Мы! никого! не боимся!! Мы!! не боимся!! зверей!!!»

Это был лишь один из преподанных им уроков сопротивления ужасам силами искусства. В те же годы у меня страшно нарывал палец (средний ноготь на правой руке так и остался утолщенным); папа ночами сидел со мной, импровизируя бесконечную стихотворную сагу с вариациями на актуальные темы. Помню строчки: *Орел высоко в небо поднялся./ Вдруг видит: там висит большая колбаса.* «Колбасами» назывались аэростаты воздушного заграждения, и их игрушечная съедобность была тоже призвана на помощь.

В страхах папа понимал. В детстве, в «мирное время» до Первой мировой, на пляже в Сопоте (тогда — в Восточной Пруссии) бонна бросила его в воду, чтобы он научился плавать, хотя мама пообещала ему, что этого не будет. Он захлебнулся, на всю жизнь стал заикой, а, главное, навсегда сохранил болезненное доверие/недоверие к слову, обещанию, договору, порядку, власти.

Дальнейшая жизнь и особенно власть не подвели. К тридцати пяти годам он уже пережил мировую войну, революцию, гражданскую войну, частичную потерю слуха (отосклероз), препоны для непролетарского элемента при поступлении в вуз, аресты друзей и родственников (некоторых — в его присутствии), еврейский ужас перед приходом немцев, гибель любимого брата в ополчении под Москвой, хаос эвакуации (его тогдашние письма к маме дышат готовностью к смерти). Сверд-

ловск был еще сравнительно тихой гаванью. Предстояли кампании против формализма и космополитизма, изгнание из Консерватории и дальнейшие «госстрахи», превратившие его в сорок с небольшим в ипохондрика, боявшегося сквозняков и лишней десятой на градуснике, хотя я еще помню его в первые послевоенные годы любителем далеких лесных прогулок в белых парусиновых туфлях и рубашке апаш.

Через все эти революции он, как говорится у Зоценко, сохранился. Окончил два вуза, стал, несмотря на заикание и глухоту, блестящим лектором и знаменитым музыковедом (у него или по нему практически «все» учились), не покаялся во время ждановских проработок, прожил, несмотря на тонны принятых лекарств, до 93-х лет и все это время оставался для окружающих воплощением юмора, житейской мудрости и профессиональной этики. Секрет? Четкая до маниакальности дисциплина: пунктуальность (папа родился, как и Кант, в Кенигсберге, и по нему тоже можно было проверять часы), организованность, корректность, соблюдение всех возможных правил — как разумных, так и просто действительных (это уже Гегель), инструкций, постановлений и предписаний врачей (включая ежедневную зарядку). Обратная сторона: требование пунктуальности и буквального выполнения обещаний от других и страх, страх — боязнь малейших отклонений от порядка, будь то спущенного сверху или установленного им самим. Отчитывая зависевших от него

людей, в частности, меня, за нарушение слова, он страдал не меньше их, ибо вымещая на них первичную травму, нанесенную матерью и щедро подкрепленную советской властью, тоже слабо державшей обещания, он отчаянно пытался вернуть слову надежность. Значительная часть комплекса по эстафете передалась мне.

Так что все это было до боли знакомо, когда занявшись Зоценко, я обнаружил у него во многом те же страхи и те же рецепты. Я сказал папе, что пишу Зоценко с него. Помню, как он узнающе кивал, читая воспоминания вдовы о предсмертных страхах Зоценко по поводу оформления пенсии и его коронном аргументе: «Что, ты не знаешь моего характера? Разве я смогу быть спокоен, пока не выясню все?».

Когда моя книга о Зоценко вышла, я подарил ее папе с посвящением, в котором благодарил за многое и среди прочего за работу натурщиком. Книга ему понравилась, а надпись нет. Выяснилось это через год. В мой очередной приезд в Москву папа, сказав, что у него ко мне серьезная просьба, попросил выделить ему другой экземпляр и сделать на нем, не помню точно его слов, но в общем, нормальную, приличную надпись. Кажется, он аргументировал это желанием показывать книгу знакомым. Я пытался возражать, но увидев, что он серьезно задет, уступил — написал что-то обтекаемое.

Его настояние на изготовлении обезличенного, формально корректного документа даже в та-

ком интимном деле поразило меня. Диспропорция была такая же, как когда однажды по телефону через океан он сказал мне, что есть крупная неприятность. Я встревожился. Оказалось, Б. Сарнов в интервью «Известиям» пожаловался на мое ахматоборчество. Я успокоил папу, что с работы меня за это не снимут, и попросил впредь не называть крупными неприятностями ничего, кроме ухудшений его здоровья.

Приучившись с некоторых пор примерять все к себе, я, конечно, понимаю, что фигурировать в качестве оригинала не очень лестного портрета может быть неприятно. Когда Юра Щеглов двадцатью годами раньше работал над своим описанием Зощенко, он дал понять, что такую черту зощенковского персонажа, как «неспособность ответить на культурный вызов», он знает по мне. Я огорчился, но предпочел принять это как полезную критику. Юра, со своей стороны, не посыпал мне соль на раны в своих посвящениях, и никакой травмы вроде не образовалось.

Но что если это лишь защитный рефлекс, а на самом деле вся моя работа над реинтерпретацией Зощенко — заменой культурологического прочтения экзистенциальным, сфокусированным на страхах, — диктовалась ничем иным, как подспудным желанием избавиться от травмы, переведя разговор с себя на папу?!

ПАПИНЫ МАЙСЫ

Своей любовью к виньеткам я тоже обязан папе, который был мастером устных новелл. Лучше всего они воспринимаются в записи на звуковую и видеопленку, но во многом сохраняются и в письменной передаче. По памяти приведу некоторые из них.

1. Материя и энергия

В детстве у папы была теория, что чай становится сладким не от сахара, а от помешивания ложечкой.

- Зачем же тогда кладут сахар?
- Чтобы знать, когда хватит мешать.

2. Естественный отбор

Папа отказывается принимать касторку. Его легендарная бабушка настаивает. Будущий профессор пускается на интеллектуальный блеф:

- Мы в гимназии проходим про древних греков. Они создали великую культуру, хотя не знали никакой касторки,
- Древние греки не принимали касторки? Так они-таки все умерли!

3. Separate but equal

Бабушке сообщают, что такой-то умер. Она просит уточнить:

- А гой дер а ид?

- А гой.
- А гой?! Тозе залке.

4. «Пропала юбке!»

Бабушкина служанка — простая девушка из провинции. Языковой барьер между ними обостряет вековую подозрительность хозяйки к работнице и еврейки к шиксе.

На тревожный вопрос бабушки, где та или иная вещь, например, юбка, служанка часто отвечает: «Убрата». Бабушку, незнакомую с диалектальными тонкостями русской морфологии, это приводит в панику.

— Пропала юбке! Все винесут! Я спрашиваю, где юбке, она говорит, у брата. Она все уносит к брату! Пропала юбке!! Все винесут!!!

Бабушка ходит по квартире, причитая: «Пропала юбке... Пропала юбке... Все винесут...» Потом пауза, и откуда-то из спальни доносится виноватое: «А!... Узе есть».

5. Наша лучшенькая

Под конец жизни один из папиных старейших родственников (кажется, дядя Гуго) решил изучить и сравнить важнейшие мировые религии. Когда исследование было закончено, его спросили, какая же оказалась самой лучшей.

— Самая разумная, самая благородная — буддийская. После иудейской.

6. Дядя честных правил

Тот же дядя владел универсальным средством от желудочно-кишечных заболеваний.

— Если запор, надо больше есть, — чтобы пронесло. А если понос, надо больше есть, — чтобы завалило.

7. Хэпни эндишпиль

В семье Урысонов, папиных родственников по матери, шахматы культивировались. А среди родственников был даже знаменитый шахматист (чуть ли не чемпион Германии) Бениамин Блюменфельд [1884-1947; http://chess.ufanet.ru/history/his_foto.htm], по семейному прозвищу «Бомба». Он, кстати, одним из первых стал изучать психологию шахматной борьбы, и в 1945 году защитил на эту тему кандидатскую диссертацию. Урысоны вообще знали себе цену и не выходили за кого попало: когда один из них захотел вступить в брак с кем-то из семейства Моносонов, родительское согласие было получено не сразу, а лишь после того, как была выработана снисходительная формула «Монозон — это почти, как Урысон».

Сам папа (Л. А. Мазель, продукт еще одного мезальянса) играл для любителя очень хорошо — в силу первого разряда. Он мог играть без доски и давал сеансы одновременной игры вслепую мне и моим дворовым сверстникам. Проблемы возникали у него только с Кириллом Двукраевым, кото-

рый вскоре и сам получил первый разряд (а потом поступил на философский факультет МГУ, помещался на глубинах диамата, спился, приходил одалживать трешку, завербовался на целину и там погиб). Любил папа и шахматные задачи. Когда я показал ему одну из задач Набокова, он решил ее с первого взгляда и удивился, что она составляла предмет авторской гордости.

Он очень любил рассказывать истории из мира шахмат, смакуя перипетии происшедших на его веку поединков между Ласкером, Алехиным, Капабланкой, Эйве, Ботвинником. А я помню, как в начале 50-х он ходил в Зал Чайковского на какую-то из игр матча Бронштейна с Ботвинником, бесменным тогда чемпионом мира. Папа отдавал должное совершенствам Ботвинника, как и он, доктора наук, до зубов вооруженного теорией, но его — да и многих, в том числе меня, — волновал вызов, вновь и вновь бросаемый воплощению советского шахматного истеблишмента хрупким, неровным, непредсказуемым Бронштейном. Папа пришел возбужденный тем, как Бронштейн, потеряв фигуру и неясно на что надеясь, продолжал защищаться с такой неистовой изобретательностью, что Ботвинник, видимо, ошарашенный его дерзостью, в конце концов согласился на ничью. Впечатление, сказал папа, было сюрреальное на грани провокации, как будто Бронштейн, держась за потолок, опровергал все законы природы и общества. Как сказал бы Саша Осповат, — «типичный залп по Кремлю». Но Кремль еще стоял прочно:

матч кончился вничью, а по условиям ФИДЕ в таком случае чемпион сохранял корону.

Так или иначе, когда лет сорок спустя, уже после перестройки, один мой знакомый — кандидат технических наук, но с разносторонними культурными интересами (то, что по-английски называется *culture vulture*, «культурный стервятник»), — предложил мне лишний билет на престижную шахматную встречу (Карпов? Каспаров?), я сразу подумал о папе: для него это могло бы оказаться хорошим антидепрессантом. Приятеля, ценившего папины работы, моя идея тоже вдохновила: «Пойти на шахматы с Мазелем!». Не вдохновила она только папу. Как я его ни уговаривал, он сказал, что времена, когда он куда-то ходил, давно прошли. Приятель огорчился, снова пригласил меня, я снова отказался и вскоре забыл об этой истории.

Но она имела завершение. В очередном разговоре приятель сказал:

— Да-а, зря ты тогда не пошел. Отличная компания подобралась, на уровне докторов наук: доктор физ.-мат. наук такой-то, доктор технических наук такой-то, доктор биологических наук такой-то — и я. Жаль, Мазеля не было...

Реплика, в сущности, гоголевская («Гам у нас и вист свой составился: министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я...»), но — чистая правда, взята, как говорится у Зоценко, с источника жизни.

8. Рамочная конструкция

Когда по какому-нибудь политическому поводу говорили, что такое не может долго продолжаться, папа вспоминал, как в 1918 году его одноклассница (им было по одиннадцать лет), случайно встреченная на трамвайной остановке, бросила ему с подножки:

— Ну, долго же такое продолжаться не может!

Он также любил цитировать Шостаковича, в аналогичных случаях говорившего:

— Были же Средние века. Понимаете? ВЕ-КА!

Тем не менее, папы, родившегося за 10 лет до советской власти, достало на то, чтобы прожить столько же и после нее. Он любил симметрию. Ну и, как известно, в России надо жить долго.

Шостакович (1906-1975), наоборот, на десяток с лишним лет не дотянул. В математическом смысле это тоже симметрия, но не зеркальная, а какая-то похуже, кажется, продольная.

9. Аргумент

Начало 20-х годов. НЭП. За завтраком папа, юный интеллектуал, убеждает дядю в перспективности социализма. Исчерпав логические доводы, дядя, человек с раннего времени, разводит руками, окидывает глазами стол и говорит:

— Лёля! Ты же хочешь, чтобы продукты были свежжие?!

10. Как сделана Россия

В 30-е годы папа путешествовал на пароходе по Волге. Среди пассажиров были американские туристы. Папа по-английски говорил, но с неважным произношением. (В совершенстве он с детства знал немецкий.) К концу круиза одна американка поделилась с ним своими впечатлениями:

— Russia is badly done (*букв.* «Россия плохо сделана»), — сказала она.

Папа, знаменитый своими имитационными «показами», передавал это низким, подчеркнуто мужским голосом, отдельно выговаривая каждый слог. При этом в борьбе с чуждой фонетикой его рот оказывался как бы забит огромными американскими зубами. Вердикт звучал отталкивающе, но обжалованию не подлежаще.

11. Талон на место у колонн

Папа рассказывал, что Шостакович имел обыкновение приезжать на вокзал сильно заранее, чтобы, как только подадут состав, войти в вагон, занять свое место, постелить постель, раздеться и лечь под одеяло.

— Зачем?

— Затем, что если окажется, что на это место продали два билета, и придет другой пассажир, то место останется за Шостаковичем как за уже лежащим.

На недоумения типа: он же Шостакович, лауреат, депутат и т. п., так что место ему уж как-ни-

будь обеспечено, папа отвечал другой историей про Шостаковича и билеты.

В 30-е годы его даме вдруг захотелось пойти в театр, мимо которого они проходили. В кассе билетов не оказалось. Шостакович готов был ретироваться, но дамочка продолжала напирать: он знаменитость, его все знают, стоит ему назвать себя, как билеты найдутся. Он долго отнекивался, но, в конце концов, сдался и обратился в окошечко администратора с сообщением, что он Шостакович. В ответ он услышал:

— Ви себе Состаковиц, я себе Рабиновиц, ви меня не знаете, я вас не знаю...

12. Конец поношению

Валентина Иосифовна (Джозефовна) Конен, в свое время папина ученица, была замужем за известным физиком Евгением Львовичем Фейнбергом (кстати, братом пушкиниста И. Л. Фейнберга). Папа очень дружил с ними. Когда он приходил к ним в гости, Фейнберг, давая папе и В. И. наговориться на профессиональные темы, присоединялся к ним не сразу. Выждав полчаса-час, он, наконец, выходил из кабинета со словами:

— Ну как, поношение С-ва уже закончилось? (С-в был консерваторский завкафедрой.)

13. Тема с модуляциями

Любимым отрицательным героем папиных консерваторских новелл был В. О. Б-в. Судя по всему,

он был бездарный, но сравнительно невредный зануда, и я не мог понять, чем он так занимал папу.

Один рассказ — и показ — был о том, как Б-в садится на трамвай (троллейбус). Папа изображал, как Б-в сосредоточенно вступает на подножку, целеустремленно протискивается к кондуктору, внимательно отсчитывает деньги, зорко нацеливается на билет и сдачу. Вокруг тем временем течет трамвайная жизнь: кому-то уступают или не уступают место, кто-то продвигается вперед, толкая Б-ва локтями, кто-то пытается передать через него деньги, кто-то спрашивает, сойдет ли он на следующей... Но Б-в ни на что не отвлекается — Б-в занят. Б-в полностью поглощен покупкой билета. На это время он умирает для мира и мир умирает для него, радостно подытоживал папа.

Еще забавнее была новелла о приобретении Б-вым билета на поезд в Иваново, и в ней тоже слышалась нотка личной заинтересованности. Папа живо изображал, как, отстояв очередь и сунув голову в окошечко кассы, Б-в представляется в качестве члена Союза композиторов и сообщает, что едет в Дом творчества композиторов под Ивановом, для чего ему и нужен билет в Иваново. Едет он не отдыхать — это не дом отдыха, а Дом *творчества*, — он едет работать. Работа у него важная: пишет он не о чем-нибудь, а о музыке советских композиторов.

Продолжая нагнетать нудную симметрию периодов, папа переходил к параметрам покупаемого билета. Вагон требовался купейный, поскольку

Б-ву нужно было прибыть в Дом творчества не усталым, а готовым к работе; полка должна была быть нижняя, так как Б-в по возрасту и состоянию здоровья не мог карабкаться на верхнюю, и врачи рекомендовали ему нижнюю; наконец, место он просил — тут в папином голосе звенела особенно счастливая ирония, — по ходу поезда, ибо заснуть против движения он не мог, а выспаться перед ответственной работой ему было необходимо.

Почему кульминационное forte приходилось именно на требование места по ходу поезда, слушатели не всегда понимали. В ответ на их вопрос, — а если он не поступал, то по собственной инициативе, — папа с удовольствием пояснял, что на полдороге к Иванову, в Александрове, железнодорожные пути были устроены так, что паровоз отцепляли и прицепляли другой, с противоположного конца состава; в результате, места по ходу движения становились местами против движения. Таким образом, на торжествующе музыкальной ноте соп *br*го заканчивал папа, билет Б-ву требовался модулирующий (закономерно меняющий тональность).

Повествовательные достоинства новеллы и актерские эффекты показа были несомненны, но не исчерпывали для меня причин папиного пристрастия к этому сюжету. И вдруг однажды, когда папа в другой связи упомянул о психологических преимуществах мест по ходу поезда (кажется, возможность смотреть вперед как-то способствовала безопасности), я понял. Б-в, при всей своей научной

и человеческой серости, был папиным подсознательным alter ego. На нем вымещались собственные страхи и унижения, собственные сомнения в ценности избранной профессии и собственные занудные предосторожности, — феномен, знакомый мне как литературоведу вообще (Лермонтов и Печорин, Флобер и мадам Бовари, Зоценко и его персонаж) и автору разбора папиной новеллы «Ессентуки-1952» в частности (умный профессор и запуганный портной).

Насчет Б-ва папа согласился легко и весело, насчет портного — с оговорками, а признание, что зоценковское недоверие я писал с него, воспринял скорее болезненно, хотя по существу и не спорил.

14. Нам внятно все

Изгнанный из Московской консерватории за «космополитизм», папа профессорствовал в Институте Военных Дирижеров. Институт был в ведении Министерства обороны (а не высшего образования), и его волевой начальник, генерал Иван Васильевич Петров, воспользовался случаем украсить свой штат отборной группой лиц еврейской национальности. (В те же годы в нашей средней школе No.50 историю преподавал некий Зиновий Михайлович, по прозвищу, естественно, Зяма, — доктор наук, уволенный из Института Государства и Права и таким образом на собственном опыте испытывавший взаимодействие этих юридических категорий.) Менее удачливые изгои были трудоустроены в провинциальных консерваториях, куда

выезжали на преподавательские гастроли без отрыва от московской прописки. Но речь пойдет не столько об этих малой и средней диаспорах, сколько о встречной миграции монголов.

Монголия, утратившая со времен Чингисхана доминантное положение среди стран соцлагеря, не была, однако, освобождена от внесения в его коллективную боевую мощь своей скромной лепты, и ее вооруженные силы нуждались в музыкальном обеспечении. Посредничество между Западом и Востоком, волновавшее еще Киплинга и Блока, выпало на долю консерваторских беженцев. Взаимопонимание было затруднено культурными и языковыми барьерами, но наступало.

... — В последние годы жизни Бетховен оглох, ушел в себя, был одинок...

Монгольская группа выслушивает эту печальную повесть в недоуменном молчании. Возможно, потеря слуха не кажется им экзистенциальной катастрофой.

— Он оглох, — повторяет профессор, — ушел в себя, у него осталось мало друзей, не было любящей женщины, он был очень одинок...

Все напряженно молчат, но вдруг лицо одного из слушателей озаряется улыбкой узнавания — он нащупал логическую цепочку, понятную любому кочевнику.

— Одинокий — одинокий — один нога! Один нога — никто любить не будет!!

В другой раз излагается сюжет «Кармен» и тоже падает, как в вату. Добросовестное внима-

ние слушателей держится на исходной настороженной ноте, не только не получая финального разрешения, но, повидимому, не вовлекаясь и в завязку. Драма любви, ревности и смерти почему-то не берет монголов за живое. Но вот наступает просветление:

— Товарищ профессор! Я понял!! Он был женщина!!!

В монгольском языке категория рода отсутствует не только у глаголов, как, скажем, в английском, но и у личных местоимений; «он» и «она» — одно и то же слово. Поэтому интеллектуальный прорыв неизвестного номада не уступает будущим западным прозрениям в области гендера. (Сегодняшнего американского первокурсника не поставил бы в тупик и Кармен-мужчина. Впрочем, по линии эротического дальтонизма монгольские духовики оказываются в почетной компании Льва Толстого, вычеркнувшего из своего массового издания чеховской «Душечки» нежные прикосновения к героине мужчин, но не женщин.)

Темнота монгольских студентов была предметом шуток и на филфаке МГУ, где я учился несколькими годами позже. Но в начале 90-х, разговорившись в самолете с соседом — американским геологом, летевшим в командировку на Восток, я услышал, что в его опыте монголы своей динамичной организованностью дадут русским сто очков вперед, так что феномен Чингисхана не представляется ему загадочным. Загадочным остается феномен русской души и партийной диктатуры, не-

устанно занятой отбором кадров, но не застрахованной от отдельных срывов.

15. Вам хватит

В 20-е годы, когда папа преподавал на рабфаке, один бойкий слушатель решил опровергнуть какое-то положение его лекции с помощью марксизма.

— Знаете ли вы, профессор, что по этому поводу сказал Энгельс в своей надгробной речи на могиле Маркса?

Он привел цитату. Папа парировал:

— Да, но знаете ли вы, что возразил на это Маркс в своей ответной речи на могиле Энгельса?!..

Приручающий смерть кладбищенский юмор был его любимым орудием. У него всегда были наготове соответствующие еврейские анекдоты.

«Ви слышали, Рабинович умер? — Ай, умэх-шму-мэх, главное это здоховье!»

«Вы слышали, Рабинович умер? — То-то я смотрю его хоронят!»

«Рабинович, вас хоронят, а вы, оказывается, живы?! — Ай, кого это интэхэсно?!»

Смерть подразумевалась не только Маркса, Энгельса и Рабиновича, но, прежде всего, собственная.

В 60 лет он по давнему замыслу вышел на пенсию, чтобы написать намеченные книги, к 80-ти все написал и издал и считал жизненный план выполненным. Удивлялся своему долгожительству. Смаковал сигналы приближающегося конца.

Он с удовольствием рассказывал, как однажды сломался унитаз, слесарь явился навеселе, что-то

починил, но с бачком велел обращаться осторожно — спиной не опираться. Папа забеспокоился и спросил, не надо ли заменить и бачок.

— Да не, ничего, — сказал слесарь, покачиваясь на пути к выходу, — он еще п-постоит.

— Сколько постоит? — забеспокоился любящий точность папа. — Год? Месяц? Неделю?

Слесарь качнулся в обратную сторону, мутно поглядел на папу и махнул рукой:

— В-вам хватит...

Когда пришлось сменить домработницу, мы устроили смотр нескольким кандидаткам. Объясняя условия, папа каждый раз как бы между прочим добавлял:

— Ну, работа, вы видите, временная...

Даже если жизнь ему улыбалась, он не забывал оговорить пределы своего оптимизма.

В 1984-м году он приехал в Париж повидаться со мной — тайно от советской власти, по частному приглашению французских знакомых. Несмотря на сильную дозу подсоветской паранойи, он был бодр, и мы целый месяц весело катались по Франции. Но на вопрос, куда в следующий раз, может, в Германию (страну, где он бывал в детстве и на языке которой говорил свободно), он сказал, спасибо, хватит. Увидеть Париж и умереть.

Перестройка вернула ему интерес к жизни, но опять-таки в четко очерченных масштабах.

— Теперь мне надо дожить до приватизации квартиры и передать ее тебе, а там и помереть можно.

В 1996-м, во время президентских выборов, он оба раза (было два тура) потребовал отвести себя на избирательный участок, с огромным трудом поднялся по лестнице, но за Ельцина проголосовал. Я говорил, что ему принесли бы урну на дом. «Нет, — с живительным недоверием сказал он, — это то, с чем мы боремся. Неизвестно, куда они потом денут бюллетень».

Выполнив долг передо мной и историей, он стал заговаривать о смерти регулярно и без страха — в сократовском ключе.

— Смерти я не боюсь. Я боюсь боли, больницы, беспомощности. Моя мечта — умереть при тебе. Приедешь и заодно похоронишь. Не придется срочно хлопотать о визе.

Когда у него разболелись зубы, он отказался их лечить. Вырвать и все. Мне хватит.

Разговоры о смерти учащались. Во время его последней болезни я стал из Лос-Анджелеса тревожно расспрашивать его, организовывать анализы, врачей, больницу. Он сказал:

— Аля, чего ты так волнуешься? В шестьдесят три года ты вполне можешь остаться сиротой.

Что можно возразить на эту загробную в сущности речь?

Belle lettre

В середине 50-х годов в Москве гастролировал парижский театр Marie Belle. Он назывался так по имени ведущей актрисы и, насколько я понял,

хозяйки всей антрепризы. Мари Белль была уже не молода и, вопреки своей фамилии (псевдониму?), скорее некрасива, что, разумеется, не мешало ей с успехом играть заглавную роль в расиновской «Федре». До сих пор у меня на слуху ее растерянно-ревнивые вопросительные интонации в монологе из IV действия: «Comment se sont-ils vus?...» («Где виделись они?...»).

Я учился на филфаке и уже прилично понимал по-французски. В частности, я знал не только, что буква h не произносится, но и что есть два типа h: обычное и аспирированное. Разница в том, что h aspiré не вступает в liaison — не позволяет следующему за ним гласному склеиться с предыдущим словом. Например, обычное h в la + herbe, «трава», дает l'herbe [лерб], а la + haine, «ненависть», с аспирированным h, так и произносится [ля эн] (а не l'haine [лен]). Иными словами, h aspiré это маркированный нуль, который не просто отсутствует, а блистает своим отсутствием. Но и блистая, все же остается нулем, не более того.

Каково же было мое потрясение, когда со сцены в зал понеслись оглушающие в своей гортанной немоте придыхательные шипы! Театральная дикция, тем более в классическом репертуаре, сохраняет архаическое произношение. Особенно уместными эти придыхания казались в устах Федры, на все лады — в соответствии со своей трагической коллизией и с принципиальной бедностью и, значит, повторяемостью расиновского словаря — склонявшей «ненависть».

Заглянул во французский текст «Федры». Существительное *haine* и глагол *haïr* встречаются 23 раза: 7 раз в I действии, 10 — во II, 1 — в III, 3 — в IV, 2 — в V. Их употребляют все основные персонажи, чаще других — сама Федра (9 раз), причем четырежды в одном монологе и дважды в одной строке; на втором месте Ипполит (4 раза). Помимо *haine/haïr*, с *h aspiré* начинается слово *honte*, «стыд», тоже одно из актуальных и потому частых в «Федре».

Впоследствии, занявшись сомали, я сначала узнал из книг, а затем и услышал вживе в речи носителей, сколь богат может быть спектр заднеязычных, увулярных, гортанных и ларингальных согласных — от нулевых и еле слышных до взрывчато хрипящих; в конце концов, я даже научился кое-как произносить («противопоставлять») их. Но свистящее, как кнут, *h aspiré* навсегда связалось у меня с Мари Белль.

Выбранные места из переписки с Хемингуэем

Это было давно, более сорока лет назад. Летом 1957 года в Москве должен был состояться Международный фестиваль молодежи и студентов. Подготовка к этой операции по контролируемому приподнятию железного занавеса, первой после смерти Сталина, началась задолго. Меня, третьекурсника филфака МГУ, она коснулась двояким, нет, трояким образом.

С одной стороны, факультетские инстанции рекомендовали меня к участию в фестивале в составе некой дискуссионной группы по западной литературе. Первым же поручением, возложенным на меня в этой роли, было написание письма Хемингуэю. Совершилось это так. В перерыве между занятиями ко мне подошел Дима Урнов, тогда студент 4-го курса, в дальнейшем — потомственный советский литературовед-зарубежник, во времена перестройки — главный редактор «Воплей», ныне, кажется, трудящийся Среднего Запада и во все периоды своей жизни — жизнелюб и лошадиник. С широкой улыбкой человека, привыкшего быть на коне, Дима сказал: «Почему бы тебе не написать старику Хэму, которым ты занимаешься?»

Хемингуэй незадолго перед этим стал лауреатом Нобелевской премии (1954), но до его массового культа в кругах советской интеллигенции было еще далеко. «Старик и море» (1952) был опубликован по-русски более или менее сразу (1955), но «Колокол» (1940), по слухам давно переведенный, оставался под спудом, как говорили — по требованию Долорес Ибаррури, «Пасионарии», которая, в отличие от Сталина, была жива. («Колокол» вышел в России лишь в 1968 г., с той же константной задержкой в три десятилетия, что «Жизнь Арсеньева», «Мастер и Маргарита», «Лолита», «Доктор Живаго»...) Таким образом, Хемингуэй являл сложную фигуру автора «спорного», но не «реакционного», и его присутствие на между-

народном все-таки фестивале было сочтено желательным.

Тем, что в знакомстве с его творчеством я немного опередил широкую общественность, я был обязан маме. Убедившись в бесполезности своих настояний, чтобы сын выбрал какую-нибудь положительную, то есть техническую, специальность, она решила посылить способствовать его успехам на ненадежном гуманитарном поприще и, среди прочего, записала меня в Отдел абонементов Библиотеки иностранной литературы на Петровских линиях. Она же посоветовала, какую английскую книгу взять первой: «Farewell to Arms» («Прощай, оружие!») — одну из тех, которые ее поколение знало по переводным изданиям 30-х годов.

Так начался мой роман с Хемингуэем. В дальнейшем, уже студентом английской группы романо-германского отделения филфака, я прочел все, что мог, из опубликованного к тому моменту. Несколько пингвиновских пейпербэков мне привез наш сокурсник исландец Арни Бергманн (в обмен я купил ему у спекулянтов зеленые томики малодоступного тогда Есенина). Я стал читать американские хемингуэеведческие исследования (Филиппа Янга и Карлоса Бейкера), упражняться в пародировании стиля любимого автора и, поощряемый нашим молодым зарубежником А. Федоровым («маленьким», прозванным так в отличие от «большого Федорова» — латиниста), сделал доклад о поэтике Хемингуэя на Научном студенческом обществе.

Скорее всего, поэтому, когда встал вопрос о приглашении великого американца на фестиваль, в качестве связного всплыла моя кандидатура, и я, возбужденный внезапно распахнувшимися горизонтами, для порядка немного поломавшись, принялся за составление текста. Что я там написал, не помню, — видимо, рецептурно вполне выверенную смесь личных читательских восторгов с общеполодежной политической сознательностью, ибо письмо у меня взяли, одобрили и отправили. Впрочем, что именно они отправили, мне было знать не дано.

В ожидании ответа, по хемингуэевской линии развивалась оживленная деятельность. У «Папы Хэма» оказалось немало любителей, и не только с нашего факультета. Помню одного, Сашу П., с которым мы некоторое время общались в рамках литературной группы, заседания которой проходили в круглой аудитории на третьем этаже филфака на Моховой. П. был миниатюрным брюнетом; его вдохновенно вскинутое лицо с выпуклыми, широко расставленными глазами, большим лбом и коротким горбатым носиком обрамлялось изысканно небрежной прической; ходил он, как я теперь понимаю, в туфлях с утолщенными каблуками, в длинном расстегнутом черном пальто с длинным шарфом à la Aristide Bruant Тулуз-Лотрека.

Мы обменялись «работами» о Хэме. Помню, что в своем тексте он с гордостью обратил мое внимание на заглавия разделов, которые любовно назы-

вал «бегунками». Это были новаторские по тому оттепельному времени заголовки, в броском телетайпном стиле, обильно оснащенные многоточиями и смело помещенные не по центру, а впрытык к левому краю, типа: «Папа Хэм едет в Африку...», «Испания: И солнце встает...», «Прощай, коррида!!..» и т. д. В общем, бегунки. (Страшно представить, что он помнит обо мне.)

Но это все с одной стороны. С другой же (а если вдуматься — с той же самой), ко мне на факультете стал подходить и загадочно со мной заговаривать некий, как он отрекомендовался, «товарищ Василий». Его рыхлая большая фигура и вульгарная физиономия до сих пор у меня перед глазами. Он долго таинственно морочил мне голову, но, в конце концов, to make a long story short, привел меня на Лубянку, где он и его более энергичный, поджарый, невысокий, с походкой самбиста старший по званию коллега, представившийся по имени-отчеству, стали уговаривать меня сдать одну комнату моей квартиры их человеку, чтобы тот во время фестиваля устраивал там непринужденные международные попойки, в ходе которых мы с ним выявляли бы происки иностранных разведок против нашей страны, мира, демократии и социализма.

Самый трогательный момент (видимо, разработанный каким-то их засекреченным сценаристом) наступил, когда они предложили мне начертить план моей квартиры, с тем чтобы мы вместе пораскинули, какую именно комнату нам лучше всего от-

вести под это дело. Я отвечал, что в черчении плана нет никакой необходимости, поскольку как мне, так, скорее всего, и им — реверанс в сторону их мистического всезнания — он хорошо известен, а сдача какой бы то ни было комнаты не может состояться ввиду моей психологической, нервно-интеллигентской непригодности для такого рода международных акций, требующих специального тренинга. В конце концов, после нескольких часов напряженных переговоров, завершившихся дачей подписки об их неразглашении, я был отпущен, причем раз и навсегда, ибо никакой вербовке в дальнейшем уже не подвергался.

Имелась и третья сторона. Шло освоение целины, и все, кто не был мобилизован для участия в фестивале, подлежали отправке в дикую степь. Этим отчасти объяснялась та готовность, с которой я вступил в переписку с Хемингуэем и посещал занятия дискуссионной группы. Но общение с нескладным товарищем Василием и его дружинистым начальником окончательно лишило фестиваль какого-либо флера в моих глазах. В целинном комитете я числился по фестивалю, в фестивальном же заявил, что по личным причинам должен буду уехать. Поскольку участие в фестивале было не обязанностью, а привилегией, в моих словах не подумали усомниться. Меня охотно вычеркнули, и я уехал отдыхать в Пицунду.

Это было так давно, что Пицунда представляла собой совершенно тихое деревенское захолустье, которое только еще начинали превращать в ку-

рортный центр и огораживать под будущие дачи ЦК. Отдыхающих, исключительно «диких», насчитывалось не более трех десятков. В знаменитой реликтовой роще сильно воняло, ибо туда запросто ходили с прилегающего пляжа как по малой, так и по большой нужде. Зато вода была так прозрачна, что уроненные кем-то часы были видны на глубине шесть метров; местный грузин-спасатель нырнул и достал их.

За фестивалем я следил по газетам. Из них явствовало, что и моего корреспондента на нем не было. Кажется, он тоже предпочел провести время на юге, в его случае — на Кубе, откуда его еще не выкурил Кастро. Это было действительно очень давно, при Пасионарии, до Фиделя.

Зарубежка-57

Когда мы учились в Университете, кафедра зарубежных литератур являла на редкость убогую картину. Преподавали там большей частью какие-то увечные — хромые или безногие. Можно было подумать, что где-то в высших административных сферах эта кафедра была сочтена подходящим местом призрения для инвалидов, вроде артелей, выпускающих чемоданы. (Даже фамилии преподавателей, да простит меня Бог, наводили на мысль о неполноценности: Неу...ев, Недо...ин). Что же касается научной стороны, то дело было совсем плохо. Мы долго пытались определить для себя, к какому методу относится их литературоведение:

социологическому? — нет! марксистскому? — тоже нет! Лучше всего, наверно, было бы сказать, что к анкетному, потому что о каждом западном писателе говорилось примерно так, как если бы он пришел за характеристикой для поездки за границу. Потом нам пришлось убедиться, что самое существенное в их работах — это что их не берут в букинистических магазинах.

Непочтительному отношению ко всей этой лавочке первым научил нас NN.

— Кто у вас читает зарубежную литературу? Имярек? Плохо читает? Ну что ж, серый человек, языков не знает, — сказал он.

— Почему, — сказали мы, — он ходит в Иностранную Библиотеку.

— Ну, что он там читает — «Юманите»?!

Под впечатлением от этих слов мы, всегда, когда видели Имярека в Иностранке, переглядывались, мол, «Юманите» пришел читать, а когда видели его на улице, то тоже понимали, что либо идет читать «Юманите», либо уже почитал и теперь идет пересказывать студентам.

Письма русского путешественника

Конец 50-х годов. Младший брат моей университетской знакомой получает письмо от одноклассника, забранного в армию. Тот служит в Германии и пишет обо всем понемногу, но главным образом, конечно, о сексе. «Понимаешь, — жалуется он, — здесь чувую не отличишь от простой».

Кажется, слова *чувак*, *чувиха*, *чувой* в переводе пока не нужны. А сорок лет назад они были новыми, недавно пришедшими из жаргона джазистов («лабухов»); что же касается слова *простой*, то в этом специальном значении («не-чувой») оно вообще встретилось мне единственный раз в жизни.

Так или иначе, более внятного описания современной культуры как снимающей оппозицию high/low я не знаю. Может быть, фокус в том, что благодаря взгляду из немой России символом престижа оказываются цивильные шмотки, а знаком высоколобого дискурса — приклатенная лексика.

На словесном фронте

Одной из самых колоритных фигур на нашем курсе был Яша П. Он пришел на факультет немолодым человеком, после армии, успев, по его рассказам, повоевать с японцами. У него было типичное солдатское, по-бабы морщинистое лицо, с выцветшими голубыми глазами и зубом серовато-пшеничных волос. Как будто ничто в нем не располагало к занятиям филологией; эталоном словесного изящества ему казалось обращение: «Привет телевизорщикам!», почерпнутое из какого-то фильма. Но бывшим военнотружущим предоставлялись льготы при поступлении в вуз, а факультетское начальство охотно их привечало, видя в них естественную опору в борьбе с вольномыслием самонадеян-

ных юнцов — будущих шестидесятников. Впрочем, Яша был скорее бестолковым свойским парнем, в партийном карьеризме замечен не был и среди своих темных, но ушлых сверстников оставался такой же белой вороной, как и среди юных интеллектуалов.

Воссю его ирои-комическому амплу старослужащего солдата от филологии случилось быть разыгранным в военном лагере после четвертого курса, причем нескладные отношения Яши со Словом сказались тут самым роковым образом. Все мы на месяц учений стали как бы рядовыми, Яша же, с учетом его армейского прошлого, был понарошке произведен чуть ли не в старшины. Это условное обозначение он принял совершенно всерьез, с неистовством отставного, но преданного службиста. Так, во время учебного марш-броска он среди ночи по собственному почину встал на вахту у генеральской палатки и начал окапывать ее каким-то уставным ровиком; проснувшийся от неурочного шума генерал выматерил его и отправил спать.

Очередной приступ Яшиного рвения мне пришлось испытать на себе. Один раз за месячный срок каждый из нас должен был побывать в роли дневального, и судьбе было угодно поставить меня на этот день под начало Яши. В роли старшего (над двумя рядовыми дневальными) дежурного по роте его не могло удовлетворить командование такими непритязательными операциями, как доставка воды, приготовление обеда и подметание до-

рожек. Решив увенчать свое дежурство чем-нибудь нетленным, он бросил нас на обнесение сортира (обширной ямы, через которую была перекинута пара бревен) изгородью из ветвей. Этой монументалистской деятельности не видно было конца, время возвращения ребят с полевых занятий приближалось, и я несколько раз говорил Яше, что пора бы приступить к обеспечению их водой и пищей. Однако Яша решительно пресекал мои будничные поползновения, указывая к тому же на неуместность обсуждения приказов командира.

Не знаю, хватило ли бы у меня духу перечить настоящей вохре, но Яша, к его чести, не внушал мне особого трепета, и я на свой страх и риск принялся носить воду и чистить картошку, то есть, выражаясь в уставных терминах, дезертировал с поста. Последовало краткое объяснение, в ходе которого я, исчерпав логические доводы, сказал:

— Ну и мудака же ты, Яша.

Слова эти были произнесены миролюбивым, скорее укоризненным, нежели вызывающим, тоном. Однако в Яшином мозгу они прозвучали посягательством на устои воинской морали, и он заорал:

— Все! Иду под капитана! Неподчинение приказу! Оскорбление непосредственного командира при исполнении! Загремишь на гауптвахту! Под военно-полевой суд пойдешь!

Этого ему, видимо, показалось мало, потому что он добавил, уже почти про себя:

— Я девять японцев убил и на тебя, суку, не посмотрю...

Вскоре рота, под командой местного капитана Екельчика и нашего университетского полковника Диаманта, вернулась с поля, и жизнь вошла в обычную колею. Остыл и Яша — никаких поползновений доложить о происшедшем он не обнаруживал. Про себя я был не только благодарен ему, но и не мог не оценить этого, в общем, нетипичного для него проявления житейской трезвости. Капитан Екельчик, несмотря на свой соответствовавший уменьшительному звучанию его фамилии малый рост и непочтительное прозвище, получавшееся из той же фамилии заменой всего лишь одного согласного, был энергичным строевым офицером. К нашей стажировке он относился с должной иронией — на учениях его коронным номером была команда: «Обозначим атаку!» Полковник Диамант, высокий, обрюзгший, неповоротливый, утруждал нас, да и себя самого, физическими усилиями еще меньше. Зато его излюбленная команда отличалась еще большей, чем у Екельчика, словесной изощренностью — он то и дело объявлял «затяжной перекур». Так что апеллировать к их чувству дисциплинарного долга не приходилось, и, наверно, даже Яша это понял. А может, просто по доброте своей горячее, но отходчивой натуры махнул рукой, тем более, что все произошло практически без свидетелей.

Но этим дело не кончилось. На другое утро, во время коллективного умывания-купания, кто-

то из ребят подошел ко мне и спросил, правда ли, что вчера во время дежурства я назвал Яшу мудаком.

— Правда.

— А почему?

— Да потому, что он и есть мудака, — отвечал я, опять-таки самым домашним тоном, не подозревая, что сцена эта ловко подстроена и Яша стоит у меня за спиной.

— Все! — заорал Яша, унижение которого сделалось публичным. — Все! Иду под капитана. Люди поедут в Москву, а ты будешь гнить тут на губе!..

Тем временем раздалась команда строиться на завтрак, и вскоре все мы стояли на плацу в правильном каре. Мы увидели, что Яша подошел к капитану Екельчику, отдал честь и что-то докладывает. Затем он вернулся в строй, а капитан повернулся к роте, и я услышал свою фамилию:

— Рядовой Жолковский!

— Я!

— Два шага вперед!

— Слушаюсь! — Я отпечатал два подчеркнuto идиотских, «пруссских», шага.

— Согласно рапорту старшины П., вчера во время дежурства вы назвали его непристойным словом. Вы это подтверждаете?

— Так точно, товарищ капитан.

— Как вы его назвали?

— Мудаком, товарищ капитан.

— Вы назвали старшего по званию и должности и вашего непосредственного начальника мудаком?

— Так точно, товарищ капитан.

— Как вы могли допустить такое нарушение воинской дисциплины?

Повинуясь четкому пульсу неписаного сценария, неожиданно связавшего меня с капитаном, я выкрикнул что было молодецкой мочи:

— Погорячился, товарищ капитан!

— Чтоб больше у меня не горячиться, рядовой Жолковский. Кррругом! Стать в строй! Рота-а... на завтрак... марш!!!

Пересмеиваясь, колонна направилась к столовой. До меня донесся ворчливый шепоток Яши:

— Я девять японцев убил и тебя, гада, убью.

... Пока что я жив. Задним числом я сомневаюсь и в смерти пресловутых девяти японцев, несмотря на нарочитую убедительность этой некруглой цифры. Отчасти идентифицируясь с ними (в рамках Яшиного параллелизма), я думаю, что они вряд ли дали бы убить себя такому законченному и вполне безобидному мудаку, как Яша. Вот интересно, жив ли он сам? Средняя продолжительность жизни в России работает против него. Да и с Логосом он всегда был не в ладах.

Appropriation art

Году в 59-м внимание нашей коктейльной компании привлек феномен курортной викторины. Толчком послужила большая статья, кажется, в «Литературке», подвергшая критике сборник стихотворных викторин, предназначенных для ис-

пользования массовиками-затейниками в работе с отдыхающей публикой.

В статье приводились особо курьезные образчики жанра. Среди них были незабываемые, например:

*Кто дал чеканных шесть романов,
Любил народ, стрелял фазанов?*
(Тургенев)

*Какой великий мастер сцены
Создал театр своей системы?*
(Станиславский)

Мы тут же стали соревноваться в сочинении подобных текстов, и даже посетили, в целях сбора материала, санаторий «Голубой залив», на который вообще-то смотрели свысока как на плебейский вариант престижного Дома творчества. Ничего выдающегося сочинено не было, — кроме одной вариации на заданную тему, пусть не вполне самостоятельной, но едва ли не совершенной:

*Какой поэт, невольник чести,
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой?!*



В ЛЮДЯХ

АХЧ

На работу (в I МГПИИЯ им. Мориса Тореза) я поступил с выговором в личном деле. Поэтому, когда А. А. Акопов, один из деятелей административно-хозяйственной части, потребовал, чтобы в порядке общественной работы я занялся составлением и редактированием газеты АХЧ, пришлось согласиться.

Однажды, подав мне объемистую пачку машинописных листов, он сказал:

— Это отчетный доклад зам. ректора по АХЧ П. В. Моренова. Вы его так поживее изложите в виде заметки, чтоб интересно читать было.

Я говорю:

— А когда это нужно?

— Да хорошо бы ко вторнику.

Я говорю:

— Аршак Арустемович, вы хотите, чтобы я за три дня разрешил проблему, над которой уже десятки лет безуспешно бьется советская литература, — задачу перевода отчетных докладов в художественную форму.

Но юмор was lost upon him. Он даже не понял, что я что-то не то говорю.

ИТМ

Когда после окончания университета Феликс Д., женившись, решил остаться в Москве и искал работу, я сказал ему, что в машинном переводе нуж-

ны люди, и предложил поговорить относительно места для него с К., который тогда заведовал сектором МП в Институте Точной Механики и Вычислительной техники. Феликс ухватился за эту идею.

— Ты скажи ему, что я согласен на самую черную работу. Я готов вообще стоять у самой машины, прямо лопатой там в нее подбрасывать.

Но вскоре Феликс освоился в ИТМ-е и принялся поливать его гноем. Гноеполивания не избежал и сам К.

— Его доклад, — говорил Феликс, — это такое торжественное богослужение, с выносом хоругвей и размахиванием паникадилами.

Надо сказать, что Феликс был первым, кто осмелился взглянуть на К. критическим оком, задолго до того, как разоблачение его культа стало популярной темой разговора среди структурных лингвистов. Впрочем, Феликс говорил, что «в вонючем Итеэме» утонченный К. не был окружен атмосферой священного ужаса и наглый халтурщик Е., приходя на работу, спрашивал: «Шеф в лавке?»

Полкаш

Феликс с женой и маленькой дочкой поселились в подмосковном поселке Лось, где снимали комнату у некоего полковника в отставке. Феликс со смаком рассказывал о «полкаше» и его доме.

Дом был деревянный, но солидный, двухэтажный, с туалетом. Казалось бы, хорошо — не надо бегать в холодный сортир. Но туалет не соединялся ни с какой канализационной системой или хотя бы выгребной ямой, образуя просто вертикальную пристройку во всю высоту дома. За долгое время содержимое его спрессовывалось, оседало, но постепенно он наполнялся, и в доме стоял непередаваемый букет, настоящий на эксcrementах нескольких поколений.

Полкаш, бывший замполит, выписывал «Правду» и целый день проводил за ее чтением. Он раскладывал ее во весь разворот на столе и ползал по ней, прочитывая статью за статьей. Читал он с красным карандашом в руках и по линейке подчеркивал каждую прочитанную строку. К вечеру вся «Правда» оказывалась аккуратно подчеркнутой — красной дальше некуда.

С тех пор Феликс развелся и женился еще дважды, сменил несколько стран и профессий; первой его дочке за сорок, обоим сыновьям за двадцать. Сам он уже десять лет как умер. Дом давно снесен под новостройки. Советский Союз распался. Полкаш идет у меня на комплименты коллегам: «Да-да, прочел с удовольствием и подчеркнул каждое слово, как, знаете, тот полковник, back in old Soviet Russia» («там, в старой советской России»). Впрочем, почему «old»? «Правда» выходит, читается и, боюсь, подчеркивается.

Общая теория дешифровки

Летом 1959 года мне случилось присутствовать при передаче Ю. В. Кнорозовым новосибирскому кибернетик Устинову фотокопий текстов на языке майя. В дальнейшем последовала сенсационная «машинная расшифровка» этого языка Устиновым и его коллегами, недолгая шумная их слава, затем публичное разоблачение Кнорозовым и, наконец, забвение. Но тогда ни о чем этом нельзя было догадываться. Был медовый месяц кибернетики, и мой учитель, В. В. Иванов, осуществлял историческую стыковку великого филолога, уже прославившегося своими открытиями в области дешифровки письменности майя, с представителями грядущей электронной цивилизации...

В кабинете у В. В. были Кнорозов, Устинов и я, зашедший по другому делу и приглашенный остаться, чтобы стать свидетелем эпохального события.

Легким манием руки передвинув к Устинову толстую кипу фотографий с иероглифами майя, Кнорозов сказал:

— Собссно говоря, сама по себе эта филькина грамота меня мало интересует. Меня интересует, что ли, общая теория дешифровки. Если угодно, я бы, тек скезеть, сказал пару слов...

— Конечно, конечно, Юрий Валентинович, это очень интересно, — поддержал В. В.

— Имеются, тек скезеть, знак и референт, что ли. Ну, тут возможны четыре случая, — он набросал излюбленную структуралистами табличку с

плюсами и минусами. — Если знак известен и референт известен, то это случай обычной, тек скезеть, лингвистики. Если референт известен, а знак неизвестен, то здесь, тек скезеть, мы имеем дело со всекого рода, что ли, разработкой терминологии и искусственными языками. Этт-как, не вызывает пока возражений?

— Нет, нет, очень интересно!..

— В таком случае я, с вашего разрешения, буду продолжать?

— Да, да, просим!..

— Тек вот, третий случай — этт когда знак известен, а референт неизвестен. Здесь я полагаю поместить дешифровку.

Определив место собственной дисциплины, он выдержал небольшую паузу. Слушатели затаили дыхание.

— Ну, а четвертый случай... тек скезеть, чего уж тут?

Глядя на два минуса, Кнорозов развел руками.

21 августа 1959 года

Мне посчастливилось видеть, слышать, целый вечер наблюдать вблизи Пастернака и Ахматову, обоих сразу. Этим я обязан В. В. 21 августа 1959 года он праздновал свое тридцатилетие и пригласил нас с Ирой к ним на дачу в Переделкино. Это было примерно через год после скандальной травли Пастернака в связи с Нобелевской премией за «Доктора Живаго» и за год до его смерти. В. В.

принадлежал к числу его ближайших друзей, непосредственно поддерживавших его в эти «дурные дни». Кажется, Пастернак советовался с ним относительно «явки на суд» в Союз писателей и письма Хрущеву, напечатанного в «Правде». Говорили даже, что В. В. сам написал это письмо. Для всех знавших В. В. по факультету, он был героем, открыто отстаивавшим в партбюро и всюду, куда его таскали, свое право любить Пастернака и его преданный анафеме роман. Но так или иначе, когда он пригласил меня к себе на день рождения, ни на какого Пастернака я не рассчитывал. С меня вполне достаточно было чести пойти в гости к обожаемому учителю.

Среди гостей были более или менее знакомые люди: родители В. В. — Всеволод Вячеславович Иванов и Тамара Владимировна, его сводный брат Миша (Иванов-Бабель) логик Витя Финн, «эстет» Миша Поливанов (впоследствии преподававший физику у нас на Отделении математической лингвистики МГПИИЯ); кажется, были (а, может быть, это было в другой раз?) Лиля Брик, Катанян и Каверин. В какой-то момент вдруг оказавшийся рядом В. В. тихо сказал: «Анна Андревна», и раньше, чем я успел ее рассмотреть, мимо меня прошла высокая седая женщина — Ахматова. Она, видимо, поднялась наверх и долго не показывалась.

Ждали Пастернака. Время от времени проносилось известие, что он скоро придет, потом, что он опять задерживается. Наконец, он появился. Он прошел через боковую калитку, которой его

дача — соседняя — соединялась с дачей Ивановых, и поднялся на террасу. Вместе с ним пришли: его жена (плотная смуглая женщина, в свое время «отбитая» у Нейгауза, а теперь полуоставленная ради Ольги Ивинской, поплатившейся тюрьмой за близость к Пастернаку; за столом жена не поднимала глаз от тарелки и, не обращая внимания на происходящее, непрерывно ела), сын Женя с женой (Аленушкой Вальтер, учившейся на нашем курсе) и сыном — внуком Пастернака Петей.

Пастернак был очень красив: невысокий, крепкий, с меднокрасным лицом и серебряными волосами, он производил впечатление здорового и счастливого человека. У него был голос балованного ребенка, капризно растягивающего слова. Его приход был встречен радостными возгласами, и все стали усаживаться за стол. Пастернак и Ахматова сидели друг напротив друга, у того конца стола, где и сам именинник. Я сидел на другом конце, на стороне, противоположной от Пастернака, так что его мне было видно лучше, чем Ахматову.

Помню тост, предложенный Мишей Поливановым:

— Борис Леонидович, если бы меня спросили, что я хочу взять с собой в космос, я бы взял ваши стихи.

В то время в «Литературке» и «Комсомолке» дебатировался вопрос о сравнительных достоинствах физиков и лириков, и какая-то девушка уверяла, что и в космосе человеку будет нужна ветка

сирени. Пастернак как-то одновременно улыбнулся и поморщился и сказал:

— Ну чтоу Вы, Миша, ну зыачем вы говорите такие глупости?

Пастернак говорил много, и для меня все это было неожиданно и интересно. Потом, дожидаясь на станции электрички, я сделал в записной книжке какие-то заметки, но наутро оказалось, что эти пьяные каракули совершенно неудобочитаемы. Некоторое время я помнил все-таки, что он говорил, и все собирался как следует записать, но так и не собрался. Что-то совершенно необычное было сказано о Гоголе. Потом он говорил о людях, которые приходят к нему в Переделкино и ждут, что он — герой сопротивления! — спасет их и возглавит, но что это совершенно не по нему и что одного такого ходока он страшно разочаровал своим несоответствием заготовленному для него пьедесталу. (Лет десять спустя Костя Эрастов, ныне покойный, говорил мне, что в Пастернаке, который первым начал движение открытого несогласия, замечательно то, что он сумел не превратить его в свою профессию, что один свободный поступок не обязывал его ко второму, то есть не порабощал его, — в отличие от нынешних «революционеров», как их называл Костя, то есть, диссидентов 70-х годов.)

Разумеется, обоих поэтов стали просить прочесть стихи. Пастернак долго отнекивался, кокетничал, говорил, что не знает, что читать, спрашивал у окружающих, что бы они хотели услышать.

Его попросили прочесть одно из последних стихотворений, тогда еще не напечатанное, но ходившее в списках и всем известное, «то, в котором залы, залы, залы, залы» («Золотая осень» из «Когда разгуляется»). Наконец, он начал читать. Читал он плохо, сбивался, забывал строчки. Я сразу вспомнил, что мама рассказывала мне, как однажды он выступал в Политехническом, кажется, уже после войны, и тоже забывал, наверное, нарочно, потому что когда аудитория тут же хором подсказывала ему, он улыбался, счастливый, что знают и помнят.

Ахматову упрашивать не пришлось. Она сказала, что как-то раз ей позвонили из «Правды» (!) и попросили дать стихи. Она ответила в том смысле, что пожалуйста, только это очень странно и вряд ли у них из этого что-нибудь получится. Ей сказали, что уж они-то знают, что делают, и раз берутся, значит, могут. Короче говоря, дело тянулось, тянулось и кончилось ничем. Вот эти-то стихи она и прочтет.

Ахматовой в то время было уже семьдесят лет. Это была величественная старая женщина, императрица. Зубов у нее, видимо, оставалось совсем мало, потому что, когда она стала читать:

*Подумаешь, тоже работа
Беспечное это житье:
Подслушать у музыки что-то
И выдать шутя за свое...,*

слышны были, казалось, одни гласные. Но это было великолепное, торжественное, звучное чтение, может быть, именно потому, что требовало от нее усилий, «танца органов речи» (как то ли Шкловский, то ли Мандельштам сказал о стихах Пастернака).

Все время, что она читала, Пастернак в такт ее голосу гудел, напевая и повторяя слоги и строчки. Когда она кончила, он тут же начал вполголоса читать только что услышанное стихотворение, заменяя или перевирая отдельные слова:

*Прекрасная, право, работа –
Чудесное это житье:
Подслушать у музыки что-то
И выдать потом за свое...*

Ахматова сказала:

– Ну вот, Борис Леонидович, вы когда мое читаете, то всегда улучшаете. – Она произнесла *улучшаете*.

– Чтуо Вы, чтуо Вы, Анна Андревна, чудесные стихи. Зачем вы их им давали? Нет, право, чудесные стихи, Анна Андревна, чудесные стихи.

– Нет уж, Борис Леонидович, это уж известно, вы когда мое читаете, то все улучшаете.

И они еще долго обменивались тщательно отмеренными приятностями, как какие-нибудь восточные вельможи, уверенные во взаимном уважении и преданности окружающих, лениво и с достоинством, Пастернак – немного по-женски и с уловками, Ахматова – с мужской прямоотой.

Теоремы надо доказывать

Эта история произошла на самой заре существования Лаборатории Машинного Перевода МПТИИЯ им. Мориса Тореза, то есть, скорее всего, во второй половине 1959 года, самое позднее весной или летом 1960-го. Лаборатория только что возникла, но уже сделалась центром духовного притяжения. К машинному переводу, как к панацее от всех бед, стали припадать маргиналы самых разных мастей – полусумасшедшие гении, энтузиасты, ищущие нового профессионального приложения сил, диссиденты и евреи, едва держащиеся на работе, женщины, вышибленные из колеи неурядицами личной жизни...

Однажды пришел некто С., рекомендованный В. В. Ивановым в качестве математика, интересующегося идеей интеллектуального кино. Он представился, сел на предложенный стул и замолк. Он выжидательно смотрел на нас, мы на него. Когда пауза затянулась до неправдоподобия, я произнес что-то поощрительное, вроде:

– Ну что ж, рассказывайте.

Гость молчал.

– У вас, кажется, есть соображения об Эйзенштейне? – Слово «соображения» было модным в наших кругах с легкой руки того же В. В.

Молчание.

– Разве вы не собирались ознакомить нас в вашей моделью?

На четвертом или или пятом раунде С., наконец, открыл рот:

— Мне бы не хотелось брать на себя ответственность.

Тут я почувствовал прилив остапбендеровского нахальства и, как пишут в англоязычных романах, *heard myself say*:

— Всю ответственность я беру на себя. Рассказывайте.

Как ни странно, это подействовало, и С. заговорил. Вернее, попросив листок бумаги, он начертил на нем прямой угол, внутри которого расположил несколько точек, и с уже знакомой нам немногословностью предложил считать это моделью самообучения, лежащей в основе интеллектуального кино и творческого метода Эйзенштейна в целом. На этом он опять замолк, теперь уже окончательно. Впрочем, короткие тезисы с тем же графиком в свой черед появились в ротапринтных материалах одной из структурно-лингвистических конференций.

Другой оригинал, мелькнувший на нашем тогдашнем горизонте, носил загадочную фамилию Кучмент и был носатым рыжим одесситом с полными любопытства зрачками, которые как бы самостоятельно плавали в своих орбитах. Начав с научной журналистики, он вскоре стал чем-то вроде писателя-фантаста, публикуясь под палиндромическим псевдонимом Т. Немчук. (Внешнее сходство с вождем кибернетической лингвистики И. А. Мельчуком, до тех пор замаскированное

разницей личностей, сразу ожило при звуках этого псевдонима; кто знает, может быть, Кучмент и сознательно рассчитывал на подобный эффект.) В одном из его то ли очерков с переднего края науки, то ли научно-фантастических повествований фигурировали и сотрудники Лаборатории с их «незаурядным чувством юмора».

Пару десятков лет спустя, когда я уже преподавал в Корнелле, наши пути опять пересеклись. Кучмент приехал с лекцией политологического характера, в качестве представителя какого-то солидного (Гарвардского? Вашингтонского?) Центра по изучению СССР. Рыжина немного поблекла (как, впрочем, и у Мельчука), кожа увяла и сморщилась (как у всех), профессия адаптировалась к обстоятельствам (как и моя) и даже зрачки немного сбавили свою броуновскую скорость. Интересно, что он поделывает теперь — руководит развитием капитализма в России?

Но самый забавный эпизод носил, так сказать, сугубо научный характер, не разбавленный никаким журнализмом. В один прекрасный осенний день в дверях Лаборатории возник человек джентльменского, хотя и слегка потертого, вида — в модном пальто, в шляпе, кашне, перчатках, с элегантным чемонданчиком «дипломат». С предупредительным поклоном задержавшись на пороге, он представился в качестве сотрудника некоего технического учреждения, и сказал, что пришел за консультацией по вопросам теории языка.

Кроме меня, в Лаборатории был только Юра Щеглов, который немедленно объявил:

— Это к тебе.

— Раздевайтесь, садитесь, рассказывайте, — любезно пригласил я. Выбора у меня не было.

Мужчина — он был явно старше нас, двадцатидвухлетних нахалов, — приступил к ритуалу раздевания. Изящными, хорошо отработанными движениями он снял шляпу, размотал кашне, стянул перчатки, с осознанным щегольством положил кашне и перчатки в шляпу, снял пальто, перебросил его через спинку стула, присел к моему столу, открыл свою дипломатку и вынул оттуда толстый, в твердом переплете машинописный фолиант.

— Это разработанная мной новая вероятностная модель языка, — объявил он.

— Ну что ж, — сказал я тоном заинтересованного старшего коллеги, — давайте посмотрим.

Я открыл фолиант и начал его перелистывать. К своему ужасу я увидел, что он пестрит нумерованными ЛЕММАМИ, ТЕОРЕМАМИ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ, СЛЕДСТВИЯМИ, ФОРМУЛАМИ — и так страница за страницей, глава за главой. Внутренне мечась в поисках выхода, я листал рукопись. На двухсотой с чем-то странице мой взгляд упал на ТЕОРЕМУ, за которой не следовало примелькавшегося и порядком раздражавшего меня ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

— Что это такое? Недоказанная теорема? Как же так?

Последовав за моим указательным пальцем, посетитель уставился на страницу и растерянно молчал.

— Теоремы надо доказывать, молодой человек, — совершенно обнаглев, провозгласил я. — Докажете, приходите.

Вежливо поблагодарив меня за консультацию, посетитель закрыл свой фолиант на роковой странице, аккуратно уложил его в дипломатку, защелкнул ее, взял со стула и надел пальто, вынул из шляпы и обернул вокруг шеи кашне, застегнулся, натянул перчатки и держа шляпу в руке, откланялся, пообещав вскоре быть назад.

Перспектива эта меня мало радовала, но, как говорится, взялся за гуж. Недели через две он явился. Повторился магический ритуал с кашне, перчатками и шляпой, из чемоданчика снова извлечен был толстый гроссбух и с неотразимым достоинством вручен мне. Я раскрыл его — и не поверил своим глазам. Это была совершенно другая модель. Уже не общеязыковая, а семантическая, не вероятностная, а сочетаемостная, без теорем, зато с таблицами и графиками.

Решение пришло мгновенно.

— Ага, — сказал я. — Вы занялись выводением смысла из синтаксической сочетаемости. Это очень перспективно. Но это не к нам. Это к Апресяну, — тут я бросил победительный взгляд на Юру Щеглова, — в Институт Русского Языка, Волхонка, 13. Тут недалеко. Вы пройдете Метростроевскую [ныне опять Остоженка] до конца, перейде-

те площадь и там, напротив бассейна [ныне — храма Христа Спасителя], увидите угловой зеленый особняк. Уверен, что ваша работа их заинтересует.

— Благодарю вас.

Опять был прокручен, как в обратном монтаже Дзиги Вертова, балет со шляпой и проч., и загадочный визитер, отвесив прощальный поклон, исчез с нашего горизонта.

То есть, исчез в унижительном качестве просителя. Проследовав от нас к Апресяну, он был немедленно взят на работу в недавно образовавшийся Сектор структурной лингвистики С. К. Шаумяна. Апресян был в дальнейшем уволен за подписание, Шаумян, обнаружив в себе, вместо бакинско-комиссарских, сионистско-империалистические корни, эмигрировал в Америку, а Ефим Лазаревич Гинзбург, несмотря на этническое неблагозвучие своей фамилии, возглавил Сектор.

Плащи, в которых пьют пиво

Как-то раз (лет 40 назад), зашла речь о дешевых плащах темносинего цвета из прорезиненной ткани. Они первыми появились в продаже после войны и долго оставались чуть ли не обязательной демисезонной одеждой беднейших слоев населения. Кто-то сказал: «А-а, плащи, в которых пьют пиво».

Определение запомнилось. Буквальный смысл его примерно таков: «плащи, которые носят люди,

пьющие пиво перед пивными ларьками, в соответствующую погоду — в плащах». Налицо набор воплощений убогого плебейского быта: напиток — пиво; пьют его — стоя, на улице, в верхней одежде; одежда — низшего качества.

Но форма выражения этой мысли обладает, помимо суггестивной сжатости, еще одной существенной чертой. В непосредственную связь друг с другом поставлены элемент туалета (плащи) и тип времяпровождения (пьют пиво). Такое чуткое соответствие кода одежды различным жизненным отправлениям отличает максимально благоустроенный, аристократический, «европейский» образ жизни. Одни туалеты — для файв-о-клока, другие — для театра и т. д.

«Плащи, в которых пьют пиво», совмещают обе крайности. Совмещают, но не уравнивают — Европа перетягивает. Голый, как сокол, российский интеллигент советского образца лелеет и скандирует подобные формулы с позиций аристократа, а не плебея, на какового смотрит свысока.

Случай в Сумах

Во время велосипедной поездки из Москвы в Ярославль (1960 г.) нам с Юрой Щегловым пришлось заночевать в Ростовском Доме крестьянина — в огромном номере, где кроме нас было еще человек двадцать. К тому же, нас положили в разных концах. Я помню, что когда погасили свет, радио

не выключили, и Белла Ахмадулина читала свои переводы из грузинских поэтов. Я слушал ее впервые и убеждался, что рассказы о том, как она прекрасно читает, не преувеличены. Потом я заснул.

На следующий день Юра встал мрачный и сказал, что не выспался, — разговаривавшие вокруг него шоферы не давали ему заснуть чуть ли не до утра.

— О чем же они говорили?

— Ах, Алик, они говорили только об одном. Из их разговоров я понял, что советские люди ни о чем другом вообще не думают. Особенно внимательно они слушали некоего Василия Васильевича; повидимому, он у них пользуется большим авторитетом в этом вопросе. Они все просили его: «Василь-Васильич, ты расскажи, как ты в Сумах-то, как ты в Сумах-то?»

— Ну, и он рассказал?

— Рассказал.

— Что же он рассказал?

— Он рассказал довольно обычную историю, которая вполне могла произойти и не в Сумах, историю, в которой, в сущности, ничего такого специфически сумского не было.

Халтурологические заметки

Свою научную карьеру я начал в должности старшего инженера с мизерным окладом 100 рублей в месяц. Но я говорил себе, что ученый должен работать, а не зарабатывать. Проблема же нехватки

денег, считал я, решается просто — путем ограничения потребностей. Противясь покупке финского гарнитура ценой в десяток моих зарплат, я говорил жене, что не хочу жить среди мебели, которая дороже меня самого. Я не был еще знаком с «Этикой нигилизма» Франка и не понимал, до какой степени мои установки смыкались с большевистскими, хотя радостно хохотал над анекдотом о том, как при коммунизме в магазинах будут вывешиваться объявления типа: «Сегодня на масло потребностей нет».

Перед глазами у меня был пример соседки по лестничной площадке, назову ее Саррой Яковлевной. Отношения у нас были хорошие, она еще помнила маму. Иногда она звонила в дверь, чтобы предложить блузку, туфельки или иной предмет дамского туалета, приобретенный ее дочкой Эмочкой, но почему-либо ей не подошедший. Моим женам, насколько помню, ничто из этих товаров тоже не подходило.

Если же звонок Сарры Яковлевны раздавался в двадцатых числах, я знал, что речь пойдет о другом.

— Алик, не могли бы вы одолжить мне пять рублей до начала месяца? Если это вас не слишком обескровит?

Сумма неизменно называлась ничтожная, я без разговоров давал, Сарра Яковлевна неукоснительно возвращала. Но словечко «обескровит» запомнилось намертво — в контрапункт к элементарной мысли, что отказ от ровно одной блузки раз на

всегда снял бы душераздирающую проблему денежного кровообращения. (О сакральных обортонах «крови» в иудейской культуре я тогда тоже еще не слышал.)

Конец моему ригоризму положил развод. На квартиру для Иры деньги пришлось занимать, а занятые отдавать. Часть я взял у папы, часть — у состоятельного коллеги. Помню, как мы пошли в его сберкассу, где он снял со счета гигантскую по моим тогдашним понятиям сумму в 2000 рублей и половину протянул мне, со словами:

— Ну, что ж — поделим по-братски. Только пообещай, что не станешь плохо ко мне относиться.

Берешь, как известно, чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда. Чтобы расплатиться с долгами, пришлось искать халтуру. В какой именно сфере халтурить, вопроса не составляло. На работе я занимался новаторской теорией автоматического перевода, зарабатывать же стал переводами, выполняемыми по-старинке, вручную. Среди моих знакомых было много мастеров этого дела. Настоящие асы работали на «синхроне», но я асом не был, да мне и не подошла бы работа по чужому расписанию. Нужны были письменные переводы.

Один приятель вырастил на них девять детей, последнюю дочку уже в Нью-Йорке. Как-то у него (еще в Москве) работал плотник, что-то чинил или строил. Костя сидел за машинкой, но по-толстовски этого стыдился и все порывался что-нибудь поднести, пока плотник не отрезал:

— Ты не дергайся. Ты делай свое еврейское дело, а я буду делать свое.

Первым моим еврейским — и, увы, далеко не толстовским — делом стали переводы на английский, по чьей-то наводке полученные в «Воениздате». Полковник Баканов, высокий красавец кавказского вида, вручил мне секретную инструкцию по обслуживанию советского танка (Т-54?), и я сделал пробный перевод. Баканов признал его удовлетворительным, но посоветовал писать проще, без лингвистических изысков, непонятных, как он выразился, «нашим черножопым братьям».

Военными деньгами я пробавлялся около года, пока не нашел более мирных вариантов. Для престижного ежегодника «Наука и человечество» я вскоре перевел с французского статью бразильского демографа Жозуэ де Кастро, борца за мир и большого друга Советского Союза. Статейка была пустынная, зато расценки далеко превосходили воениздатовские; думаю, что и автору, специалисту по проблеме голода, перепало на хлеб с маслом.

Мое экономическое положение стало укрепляться, причем, в соответствии со своими убеждениями, я стал прилично получать если не за саму научную деятельность, то за халтуру околонуучного типа. Во-первых, — за переводы статей по лингвистике. Во-вторых, — за переводческую и дикторскую работу на Московском Радио с языком сомали, о котором писал диссертацию. В-третьих, по договору с Госпланом — за то, что мы, собственно, и так делали в Лаборатории, так что дополни-

тельная работа сводилась к подаче отчетов. (Однажды выплата задерживалась, очередной отчет составлять выпало нам с Костей, и мы написали его акростихом — предложениями, начинавшимися с жирных букв **ПЛАТИЗАЭТУЛИПУ СКОРЕИБЕЗСКРИПУ**).

Расквитавшись с долгами и утвердившись в селф-имидже благополучного ученого, я начал забывать о былых халтурах. Поэтому, когда как-то накануне майских праздников из «Науки и человечества» меня попросили срочно перевести очередную статью де Кастро, я стал отказываться. Помимо нежелания, у меня были уважительные причины: я болен, машинка сломана, библиотеки закрыты. Но редакторша, попавшая в прорыв, настояла на своем, взявшись прислать оригинал с курьером, принять рукописный перевод, самолично выверить терминологию, заплатить по высшей ставке и навеки остаться у меня в долгу.

Через час в мою почтовую щель упал тяжелый конверт, но я был так слаб, что открыл его только на следующий день. А открыв, пришел в ужас. Я предусмотрел все, кроме одной мелочи. Текст был на неизвестном мне языке; судя по обилию тильд и учитывая национальность автора, — португальском. Прошлый раз я переводил де Кастро с французского и полагал, что так же будет и теперь, в редакции же я, видимо, значился как «его» переводчик, а уж с какого языка, их не волновало.

Что было делать? Статья оказалась не так уж длинна — страниц десять, напечатанных очень

четко, со щедрыми интервалами, на языке, не то чтобы совершенно экзотическом, а как-никак романском; не страшил меня текст советского, в сущности, халтурщика и с содержательной стороны. И я решил, что если я с ходу, без словаря разберусь в синтаксисе предложений, то задача сведется к добыванию португальско-русского словаря, осуществимому и в праздники. Так и вышло, тем более что д-р де Кастро не подвел, опять предложив вниманию советских друзей вполне предсказуемую муру.

А вскоре та же редакторша позвонила узнать, не порекомендую ли я ей кого-нибудь с итальянским языком. Осведомившись о характере работы и оплаты, я предложил себя.

— А вы и итальянский знаете?

— Итальянский-то я как раз знаю.

— Что вы имеете в виду?

Я не стал уточнять, новую халтуру взял, сделал, сдал и, сдавая, спросил, как дела с предыдущей. Оказалось, что ежегодник вот-вот выходит.

— И там написано: «Перевод с португальского Жолковского?» — не удержался я.

— Почему с португальского? С испанского.

— Да-да, конечно, с испанского.

Том вскоре вышел. В нем действительно значится: *Пер. с исп. А. Жолковского*. А что? Так даже интереснее.

... На работе мне уже давно платят столько, что никакой халтурой меня не заманишь. В один из приездов в Россию, совпавший, как обычно, с эко-

номическим кризисом, у меня зашел разговор с коллегой об общем знакомом, к которому я имел деловые претензии. Собеседница горячо за него вступилась:

— Ты не понимаешь! Он вкалывает на пяти работах!!

Я ответил, что я как раз понимаю — и как бывший совок, и как бывший лексикограф. Что вкалывать можно на одной, ну, на полутора работах, а на пяти можно только халтурить.

Сказав это, я почувствовал, что повел себя, как Мэдлен Олбрайт. Когда в качестве свежеиспеченного госсекретаря она приехала разбираться с сербами и они стали втирать ей очки, она перебила: «Cut it out. I'm from here» («Кончайте. Я здешняя»). Сказано отлично, а толку? С другой стороны, разве плохо звучит: *халтура, халтурищик (-щица), халтурить, подхалтуривать, схалтурить, исхалтуриться, это же халтура, отличная халтурка подвернулась?..* Приятно вспомнить.

У нас в Бхилаи

Одно время в 60-е годы секретаршей у нас в Лаборатории работала Тамара Б. Она была хорошенькая, с большими зелеными, немного стеклянными глазами, молоденькая, но уже опытная, побывавшая за границей. Прямо из десятого класса она вышла замуж и уехала на строительство металлургического комбината в Индию. Поспешность со стороны мужа объяснялась тем, что для оформления в капстраны

требовался семейный статус, ограждающий от эротических соблазнов, со стороны Тамары — думаю, неотразимостью всего пакета: тут и брак, и заграница, и хорошо оплачиваемая работа (на строительстве она тоже была секретаршей).

При всем том, Тамара сохраняла почти детскую наивность. Охотно делясь своим заграничным опытом, она начинала рассказ словами:

— А вот у нас в Бхилаи...

Она с удовольствием и сознанием культурного превосходства рассказывала об индусах. Как страстных младолексикографов нас восхищало отсутствие в ее словаре абстрактных слов, от которого описание туземных нравов даже выигрывало.

— Индийцы, они какие? Вот я приведу тебе такой пример. Вот он лежит на земле, у него ничего нет, кроме подстилки. Тут кто-нибудь бросит ему рупию, смотришь, он уже нанимает слугу, и тот идет за ним, несет его подстилку.

Действительно, какие? Нищие, ленивые, праздные, жалкие, пропитанные кастовостью — все сразу. Кому у кого учиться писать?

Зато муж Тамары, успевший до Индии что-то окончить и по возвращении работавший в главке, владел готовой лексикой в совершенстве. Звоня в Лабораторию, он представлялся с начальственной скромностью:

— Борковский беспокоит...

Фамилию из деликатности изменяю, но лишь слегка, так как не могу отказать от шикарной звукописи на «б-к-о». Герой этой повести — правда.

Яблоко или гулять

«Ты что больше любишь — яблоко или гулять?» — спрашивает малыш у автора «От двух до пяти». — «Какие у тебя глупые разговоры», — отвечает Чуковский. — «Да-а, я умных-то разговоров не знаю, а поговорить-то с тобой хочется».

1. Игорь

Мои старшие друзья-коллеги были сами очень молоды, и в моем отношении к ним не было, думаю, ничего эдиповского. Просто очень хотелось быть принятым в их блестящую компанию. Что бы там ни инсинуировал Достоевский, говорить с умным человеком — одно из главных жизненных удовольствий. Во всяком случае, такова была изначальная подоплека моего научного честолюбия.

Поговорить с этими умными людьми приехали издалека, в том числе из заграницы и даже из за железного занавеса. Я только начал работать в лингвистике, когда Лена Падучева, уезжавшая в отпуск, попросила пойти вместо нее на доклад американской гостьи и написать о нем в отдел научной хроники «Вопросов языкознания». Задание содержало вызов: американка, как и Падучева, занималась высшим научным пилотажем — логическим анализом языка.

Игра стоила свеч. При первой же встрече осенью Лена сказала:

— Видела, видела. Ну, думала, сейчас порежвлюсь. Но смотрю, кванторы на месте.

Самым устрашающим авторитетом был Игорь Мельчук. Я познакомился с ним еще до Университета, так как он учился в Музучилище у моей мамы и бывал у нас дома; однако заслужить его профессиональное одобрение казалось немислимым. Без злобы, как и без стеснения, Игорь своим «громким, но противным» голосом (его автоописание) разоблачал интеллектуальные ляпы коллег любого пола, возраста и положения.

Как-то он зашел в Лабораторию по организационным делам к нашему шефу. Я сидел за своим столом над алгоритмом семантического анализа. Это было в эпоху, когда компьютеров у нас не было, а описание грамматик не отделялось от правил оперирования ими. На листке бумаги мной были пронумерованы команды, штук двадцать, долженствовавшие сводить любую из сотни синонимичных английских фраз к единому результату.

По наступившей тишине я понял, что разговор в верхах окончен и Мельчук занялся каким-то делом, как вдруг почувствовал его дыхание у себя за спиной. Через мое плечо корифей машинного перевода всех времен и народов пробежал глазами мой алгоритм. Я напрягся — шансы опозориться были немалые.

— Хмырь болотный, — Игорь покрутил головой с неохотным одобрением. — Ни петель, ни тупиков вроде нет.

Понравилась ему, как оказалось, не только техническая чистота, но и идея алгоритма — переход от синтаксиса к семантике, который он тоже уже

обдумывал. Узнал я об этом, когда он вскоре созвал ведущих лингвистов и математиков, занимавшихся МП, чтобы наладить широкий фронт работ, и включил меня в состав этого ареопага.

Заседание проходило в полутемной комнатке (Институт языкознания располагался в помещении бывших графских конюшен), и через открытую для доступа воздуха дверь был виден коридор. Заседание длилось долго, и за это время по коридору несколько раз прошел венгерский лингвист Сепе (Szépe). Он часто бывал в Москве, причем встретить его можно было где угодно — на семинаре, на улице, в библиотеке, в предбаннике языковедческого или кибернетического начальства, буквально везде. Эти загадочные в своей регулярности появления давно стали притчей во языцех, поэтому при очередном его проходе за сценой я глазами показал на него Мельчуку, который обернулся и понимающе хмыкнул. А в следующий раз я не удержался и выдал давно назревавший латинский каламбур: «Saepe videtur» («Сепе/Часто виднеется»).

Народ посмеялся, но это было и все, в чем сошлись собравшиеся. На призыв образовать рабочие группы по темам, наиболее близким каждому, не откликнулся никто, — кроме меня, польщенно приглашением работать с самим Мельчуком. С этого началось наше соавторство, а также мое осознание безнадежной расколотости сообщества умных людей. Говорить с ними было приятно, но приходилось выбирать, с кем.

На шумные вечерние семинары по нашему толково-комбинаторному словарю, которыми дирижировал Мельчук, стекались толпы болельщиков. Реальной работы делалось немного, зато это больше, чем что-либо в моем опыте, походило на описания jam-sessions американских джазистов. Компания складывалась отличная, но — сугубо «своя».

Однажды Мельчук делал доклад на «чужом» семинаре, делал с обычным харизматическим блеском, а когда затруднился с примером, обратился ко мне, сидевшему среди публики. Я сказал, что уже и предыдущий пример был неправильный, но Игорь радостно объявил:

— Какая разница?! Они все равно не поймут!

Раскол между «нами» и «ими» меня травмировал, ибо шел вразрез с позывом к общению. Постепенно размежевание «наших» и «не наших» становилось все четче, потом на него наложилось разделение на уехавших и оставшихся, а затем произошла пульверизация и без того разбросанной диаспоры.

С искусством компромисса у российского человека не очень.

2. Володя

Кумиром нашего дворового детства был высоченный красавец Володя — будущий книжный график В. В. Медведев, оформитель книг Ахматовой, Вознесенского, Ахмадулиной. Все знали, что он ходит играть в волейбол на «Динамо», и я и сейчас ясно вижу, как он с чемоданчиком в руке, в синей с лам-

пасами динамовской форме, идет через двор подчеркнуто сутулой спортивной походкой.

В играх малышни он не участвовал, но как-то раз столкнулся с ее проблемами. Через пустырь от нашего «еврейского» кооператива располагались бараки первых метростроевцев. С бараковскими ребятами у нас периодически возникали пограничные конфликты, доходившие до камнеметания, и однажды под огонь чуть не попал Володя, возвращавшийся из города с неизменным чемоданчиком. Воспользовавшись моментом и положившись на масштабы своего авторитета, он решил открыть в истории враждующих дворов новую страницу.

Он поднял руку, и бой прекратился. Завороженные присутствием легендарного Володи, бараковцы приблизились на расстояние слышимости, а мы сгрудились за его спиной. В руке у него оказался футбольный мяч, который мы гоняли до перестрелки. Держа его перед собой, как державу, Володя этаким Владимиром Мономахом и Генрихом IV заговорил о бессмысленности наших распрей. Помню его кульминационный риторический ход:

— Один двор — один хуй, даже забора нет (читай: Une foi, une loi, un roi, «Одна вера, один закон, один король»).

Мы, дряблая интеллигенция, были заранее согласны замирииться, бараковцы же слушали со смешанными чувствами: несмотря на гипнотическое действие Володиной харизмы, они время от времени издавали инстинктивное «у, евррр!..». Воло-

дя, до получения паспорта носивший материнскую фамилию Розенберг, дипломатично пропускал эти сдавленные рыки мимо ушей. Перемирие было достигнуто, и он удалился, шикарно сутулясь.

На следующей неделе военные действия возобновились. Золотое компромиссное слово оказалось изроненным втуне.

А недавно Володя умер — лет семидесяти. Но до этого я его повидал, и мы впервые в жизни немного поговорили.

Бывая летом в Москве, я хоть раз навещаю наш двор, обычно на велосипеде. Сделал я это и в девяносто восьмом. Я подъехал со стороны пустыря и как раз оценивал взглядом солидность окружившего дом железного забора, когда из-за него донесся нежно-покровительственный, как бы отецкий, голос:

— Что, Аленька, домой приехал?

Это был Володя, седой, сильно сдавший. Он комфортно сидел на раскладном брезентовом стуле среди разросшейся зелени, вокруг бегала прогуливаемая породистая собака. Володю всегда отличал высокий класс. У него были фирменные, писательского происхождения жены, и книги он делал тоже отборные. Разговорившись, он рассказал нечто трогательное, причем в масть моему эмигрантству, — как он уже после перестройки работал на книжной выставке за границей, и к нему в секцию зашел сам Илья Кабаков. Сначала Кабаков его не заметил, но когда он назвал его «Толей» (своим именем, известным узкому кругу), тот

обернулся, узнал Володю, и они поговорили. Про яблоко или гулять — какая разница?

Все в одном томе

Как-то мой приятель Саша М., спортсмен и корреспондент ТАСС по науке, пришел ко мне с просьбой порекомендовать ему для чтения художественную литературу. Ты, мол, филолог и вообще человек интеллигентный, подскажи, что читать. Я сказал что-то вроде того, что хороших книг много.

— Нет, я, по примеру Рахметова, хочу читать только самые нужные книги.

Я почему-то назвал «Боги жаждут». Но Саша сразу же насторожился и потребовал доказательств необходимости читать Франса. Тогда я напрямую спросил его, каково максимальное число тех главных книг, которые он готов прочесть.

— Пусть это будут три книги, но такие, чтобы в них содержалось все необходимое, — сказал он.

— Этим условиям, — сказал я, — отвечает только один вид книжной продукции — «Энциклопедический словарь в трех томах». Вот он стоит, можешь взять.

К моему удивлению, Саша несколько не обиделся. Но он указал на громоздкость энциклопедического словаря, который к тому же содержит большое количество уже известной ему, Саше М., информации.

— В таком случае, возьми «Словарь иностранных слов» — всего в одном томе и как раз то, чего тебе нехватает.

Он действительно взял этот словарь и держал его довольно долго. А вскоре стал аспирантом футурологического сектора Института социологии по специальности «прогностическая функция литературы», — слова все иностранные.

С иностранными делами связана была и дальнейшая его карьера, но это особая история.

Прогнозы на 2000-й год

Юра рассказывал, что М., снабжавший его заказами на перевод всяких там предвидений на 2000-й год, торопил его, говоря, что предвидения быстро устаревают.

— Позволь, Саша, разве они могут устареть раньше 2000-го года?

— Конечно, могут. Ведь предвидения не с потолка берутся. Они основаны на тенденциях, на переменных. Меняются переменные, меняются и предвидения.

Как-то Юра вообще поставил под сомнение деятельность советских футурологов.

— Почему? — сказал М. — Вот, например, Г., специалист по досугу. Он на досуге доктором стал. Притом имеет красавицу жену, с ней и досуг проводит.

У самого у него отношения с досугом были непростые. Как все журналисты, он время от време-

ни объявлял, что пишет «большую вещь». В Коктебеле (сентябрь 1963 г.) он то и дело впадал в про-страцию.

— Скажи, что тебя гнетет?

— Понимаешь, старик, уже три дня, как я не работаю. Так нельзя. Я должен писать.

Потом как-то в Москве он опять жаловался, что не пишет, а я его утешал в том смысле, что он хороший парень, а писать ему, может быть, и необязательно.

— Но, понимаешь, старик, если меня тянет к литературе...

— Ну, тогда пиши.

— Понимаешь, к большой литературе...

— Тогда читай...

Одно время М., приняв важный вид, говорил, что у него много хлопот в связи с организацией некоего научного объединения фантастов, под председательством, кажется, самого Ефремова. Задача — спасение современной науки от грозящего ей застоя. Я спрашиваю, каким образом писатели и журналисты могут помочь ученым, не обладая соответствующими знаниями.

— Понимаешь, старик, ученые зарылись в свои специальные отрасли, а сейчас нужны большие идеи. Так что сами физики обращаются за помощью к фантастам.

Некоторое время М. ходил озабоченный, спал науку.

С историей накоротке

1. «Вы и убили-с...»

Все знают, как во время показательной встречи с английскими студентами в мае 1954 года на вопрос об отношении к ждановскому постановлению 1946 года его герои ответили по-разному. Зощенко сказал, что не согласился и писал об этом Сталину, а Ахматова, — что считает постановление правильным. (Зощенко потом острил: «Эх! — обошла меня старуха!.. Столько лет шли ноздря в ноздрию!..») Но никогда не упоминается, кто именно задал роковой вопрос, хотя Ахматову это заинтересовало еще до того, как он прозвучал. («Я сижу, гляжу на них, вглядываюсь в лица: кто? который спросит?... но угадать не могу...», — рассказывала она Чуковской.)

Мне случайно удалось вычислить имя неведомого вопрошателя.

От одной очаровательной английской коллеги я узнал, что ее бывший муж, известный историк, входил в состав той студенческой делегации, причем был в ней единственным русистом. Предположив, что ему-то и принадлежал провокационный вопрос, я узнал его адрес у другой английской коллеги и, набравшись наглости, написал ему с просьбой рассказать, как все было, и, если нетрудно, прислать то, что у него наверняка опубликовано на эту тему.

Ответ пришел по электронной почте — вежливо-уклончивый. Да, это был он, и он даже потом напечатал что-то в университетской газете, однако экземпляр затерялся, если найдет, сообщит. Больше писем от него не было.

Бросалась в глаза ирония сюжета с историком, которому довелось-таки сыграть роль в истории и который легкомысленно упускал возможность занести ее в исторические скрижали. Не исключено, однако, что сыгранной роли он стыдился и был рад вытеснить ее из памяти — своей, а заодно и человечества.

Хорош и я. Ответа не распечатал, выходных данных многотиражки не списал, а электронную почту у меня вскоре сменили, так что ценный документ стерся и из компьютерной памяти — вроде бы без особых к тому фрейдистских причин, а так, по лени, нелюбопытству и общей брэнности всего земного, в том числе электронного. Впрочем, кроме самих героев и гонителей, все живы: вопрошатель, обе коллеги и аз грешный. Так что история продолжается, и фамилию пока вытесняю.

2. Чапаев и пустота

Безмянный участник реальных событий, каким хочет остаться англичанин, — лакомый кусок для исторических романистов, виртуальный Гринев.

В воспоминаниях А. Л. Пастернака есть эпизод из берлинской жизни шестнадцатилетнего Бориса (1906 г.):

«[Б]рат... страдал от предполагаемого к нам презрения — которого, кстати, сказать, вовсе и не было — и снисходящей терпимости к неполноценным чужакам... Он поставил себе... задачей добиться полной идентичности с немцами, с... особым жаргоном... истых берлинцев... На наше ухо... он добился очень многого....

Раннее утро... Приблизившийся к нам мальчик... насвистывал что-то бодрое и веселое... Мой брат... машинально... но сверху вниз, как старший, похвалил — истинно берлинским манером...: «Здорово ты свистишь!», но покровительственный тон старшего... учуянный мальчишкой, или не совсем берлинский лад и акцент, и *желание изобразить берлинца*, вызвали в этом гамэне Берлина реакцию неожиданную и быструю: среди общей тишины особенно вызывающе резко и кратко прозвучало: «Besser wie du!» [что-то вроде «Получше тваво!», т. е., не совсем правильно по-немецки, но типично по-берлински — А. Ж.]... Прежде чем брат пришел в себя, гордого победой мальчишки и след простыл....

Полное затмение солнца было бы все же светлее, чем внезапно погрузившееся для брата в полный мрак солнечное утро. Он смолчал и молча шагал дальше... С этого утра брат — как с ним всегда в таких случаях бывало — сразу перестал «берлинничать»».

Очередное свидетельство настойчивого пастернаковского ассимиляционизма (этнического, политического, религиозного, литературного) любопытно тем, что открывает богатые сюжетные перспективы. Хотя брат-мемуарист — и тоже ассимилянт — старательно обходит еврейские обертоны эпизода, в свете последующей истории немецкого антисемитизма они напрашиваются. Если же учесть, что родители и сестры А. Л. и Б. Л. после революции уехали в Германию, откуда были вынуждены эмигрировать еще раз, в Англию, то анонимная фигура берлинского гамэна обретает неодолимую притягательность желанной лакуны. Какой простор для повествовательных эффектов!

Гамэн моложе Пастернака и, значит, Гитлера (р. 1889) на несколько лет, но явно успевает на Первую мировую, сближается там с будущим фюрером, в 20-е годы встречается с семейством Л. О. Пастернака и с гостящими Евгенией Владимировной и маленьким Женей, ухаживает за ней (некий немецкий поклонник фигурирует в переписке Б. Л. и Е. В.), затем, уже нацистским генералом и членом нераскрытого антигитлеровского заговора, оккупирует Одессу, где обнаруживает происхождение всего клана Пастернаков от романа Пушкина с кишиневской «Ревеккой», а также собственные семитские корни; после войны он à la Евграф способствует публикации «Доктора Живаго»,

съемкам фильма и присуждению Нобелевки...

Или наоборот,

он попадает на Восточном фронте в плен, встречается в лагере с Ариадной Эфрон (Ольгой Ивинской? Варламом Шаламовым?), которая читает ему письма Пастернака, когда внезапно его вызывает к себе Сталин, задумавший наладить через него контакт с Гитлером, и они говорят о Гёте, Пастернаке, Мандельштаме и смысле жизни; наступает оттепель, потом нобелевская травля, берлинец уже из ФРГ приезжает в Переделкино и спустя полстолетия происходит, наконец, настоящее знакомство и узнавание, а двумя годами позже, на похоронах у трех сосен в Переделкине, немец декламирует пастернаковский перевод из Рильке...

Эта вальтерскоттовская техника в принципе применима и к пожелавшему остаться неизвестным погубителю Зоценко. Кстати, к английским студентам можно как-нибудь подключить все того же берлинца, скажем, в качестве руководителя их делегации — кембриджского профессора сравнительного литературоведения и заодно агента Интеллидженс сервис.

... Скупая правда интересней, да и нужнее людям, но сложное понятней им. Коллективная па-

мять не терпит рядом с Чапаевыми пустоты — разве что с большой буквы.

Чудеса кибернетики

В эпоху бури и натиска конца 50-х — начала 60-х годов от кибернетики ждали всех возможных и невозможных чудес. Повинны в этом были не столько математики, сколько журналистская и гуманитарная общественность, раздувавшая вокруг кибернетики научно-фантастический бум.

Как-то раз на публичном семинаре одному из отцов-покровителей математической лингвистики, члену-корреспонденту Академии Наук А. А. Маркову (сыну великого Маркова — «сыну цепей»), задали вопрос о возможности передачи мыслей на расстояние. Марков, высокий, седой, с холемым лицом и язвительными складками у рта, весь просиял и, расхаживая по сцене своей нескладной (хромающей?) походкой, стал говорить в характерном для математиков празднично-издевательском ключе:

— Ну что же, если у вас появилась некоторая мысль, и вы хотели бы передать ее на определенное расстояние, то я бы рекомендовал поступить следующим образом. Надо взять лист бумаги, изложить на нем имеющуюся мысль и доставить этот лист в заданную точку. Если адресат правильно поймет прочитанное, то можно будет утверждать, что передача данной мысли на указанное расстояние состоялась.

Сырье für uns

Как-то Юра, с пренебрежением относившийся к моде вообще и собственному туалету в частности, решил укрепить свой гардероб покупкой двух приличных костюмов. За советом он обратился ко мне. Единственное, что я мог сказать ему с определенностью, это что товар должен быть импортный. Через несколько дней, объездив ряд магазинов, он говорит:

— Ну что ж, я могу считать, что приобрел некоторый опыт. Я уже умею отличить советскую продукцию от импортной. Советский товар, он, что ли, сравнительно недалеко ушел от сырья, в нем сырье, так сказать, доступно непосредственному наблюдению, в нем сырье как-то прямо видно, *сырье видно*.

Автоматы и жизнь

Так назывался исторический доклад академика Колмогорова в начале 60-х годов, открывший, наконец, широкую дорогу кибернетике. Но мы истории не пишем..

У моего знаменитого соавтора Мельчука было тяжелое детство — советская власть, война, мачеха и вообще еврейское счастье. Игорь «управлялся». Свою сестру и себя он одно время кормил, за еду отлавливая мух в столовке, где нехватало липучек. Как и во всем, он достиг в этом машинного

совершенства и мог поймать муху одной левой не глядя.

К моменту моей второй женитьбы (1973 г.) наша совместная работа над моделированием семантики была в разгаре. В качестве младшей коллеги Таня относилась к Мельчуку с пиететом и предвкушала домашнее знакомство (мы работали в основном у меня). А в качестве энергичной хозяйки она приняла практические меры — обила дверь отошедшего к ней кабинета войлоком и кожей, чтобы «громкий, но противный» голос Мельчука доносился туда приглушенным. Таня была, конечно, в курсе мельчуковской мифологии, включая охоту на мух.

Как-то раз, проходя через гостиную, где мы работали, Таня привычно оглядела ее в поисках не порядка, обнаружила его и брезгливо констатировала: «Муха!»

— Слава Богу, муху есть кому отловить, — сказал я, гордясь причастностью к гению, великому и в малом.

Игорь на секунду поднял глаза, хватательно выбросил левую руку и... ничего не поймал. Таня посмотрела на меня с недоумением. Игорь, не глядя, повторил свой пасс — и опять безрезультатно.

— Как же это? — растерянно сказала Таня. Культ рушился на глазах.

— Игорь, ты что? — забеспокоился я. — Ты что меня подводишь?! Я, может, под твою славу женился...

Он оторвал, наконец, взгляд от бумаги, всмотрелся, приготовил было руку, но потом безразлично отмахнулся и опять вернулся к работе.

— А-а, это моль..

— Так тем более, она же медленнее.

— Вот именно. А у меня автомат.

Видно, этой моли суждено было еще пожить. Помедли, помедли, вечерний день, продлись, продлись, очарованье...

...Интересно, сохранилась ли у теперешних владельцев квартиры противомельчуковская обивка? А также буква **И** перед унитазом, выложенная белым кафелем по черному в честь Игоря — любителя уборнографического юмора? Если нет, пусть вызовом глобальной автоматизации останется это memento о медленной моли.

О МЕЛЬЧУКЕ

Юбилейные воспоминания — род прижизненно-некролога*. Впрочем, в нашем случае подобный жанр имеет определенные преимущества, ибо речь в сущности пойдет о «другой жизни», чуть ли не о предыдущей инкарнации, о том, что умерло и живет лишь в памяти. Здесь шумят чужие города, и поминать про Китеж, про битвы, где вместе

* Очерк был написан к 50-летию Мельчука (1982 г.) — во времена глухой эмиграции, когда казалось, что железный занавес сомкнулся за нами навсегда.

рубилась они, и про прустово ложе нашего прошлого стоит разве в тем, чтобы поэта в нем законопатить. А уж там вырвется ли он, подобно дыму, из дыр эпохи роковой и т. д., — не нам судить. Все это было давно и неправда, и, как говорится, кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались перекуды, а нас на свете нет. Итак, несколько штрихов и эпизодов в глубоко прошедшем времени, в *plus-que-perdu*, из жизни человека, который был a legend in his own time.

За безусловно украинским «Игорь Мельчук» скрывался огненно-рыжий еврей Игошуа (т. е., Иисус, как он с гордостью пояснял), похожий на Романа Якобсона и Вуди Аллена. Он в буквальном смысле слова не мог молчать и пребывать в неподвижности; отсюда, наверно, лингвистика и походы. На заре туманной юности он был положительным героем стенгазеты филфака «Комсомолия» («Человек, Который Знает 10 Языков, 100 песен и 1000 анекдотов»). О его научной славе распространяться не буду, но когда «мельчуки» шли в поход («Надо пройти!»), Игорь мог несколько раз в течение одного воскресенья встретить в лесу знакомых — отдельных лиц или целое туристское кодро. С ним все хотели быть, говорить, быть им замечены, взяты с собой. Однажды в поход явилось 108 человек, с детьми и собаками.

Тогда была популярна какая-то американская социо-психологическая анкета, включавшая вопрос: «Помогае ли вы старушкам на улице?» Так вот, однажды наша очередная встреча для совмес-

тной работы сорвалась из-за того, что он взялся вызвать скорую помощь старушке, кем-то подобранной на улице и оставленной у него на руках. Скорая не приезжала, старушку нельзя было бросить...

Еврейское счастье преследовало его самого и его знакомых, и его долг был «управиться». Когда одного его приятеля (отнодь не ближайшего друга) сбила машина, оставив на дороге практически в виде груды разрозненных костей, не кто иной, как Мельчук сделал все, что было нужно, чтобы собрать его по частям и поставить обратно на ноги. Помощь какого-то совершенно незаменимого и недоступного хирурга он обеспечил, явившись к нему (после ста безрезультатных звонков) на дом, где застал его в залитой водой квартире (лопнули трубы), и вычерпав вместе с ним всю воду. Я уж не говорю о бесчисленных лингвистах, которым он совершенно бескорыстно — и напрасно, учитывая их серость и неблагодарность, — помогал в работе, подавая идеи, читая рукописи и отвечая на вопросы о смысле жизни и науки. Наверно, треть отпущенного ему времени он провел в коридорах Института Языкознания, остановленный за пуговицу по дороге к действительно важным делам.

Как мог такой человек быть не только любим, но и ненавидим?

Однажды он шумно разглагольствовал в коридоре Интститута (говорить тихо он просто не мог). Пожилая дама выглянула

из своего сектора и сделала ему замечание, он стал возражать, она сказала: «У вас, Игорь, ни стыда, ни срама нет!» — «Ну, насчет стыда не знаю, а срам точно есть. Показать?»

Еще совсем молодой Мельчук делает доклад в Институте, проповедует в храме. Почтенная старая лингвистка, профессор, доктор наук, что-то спрашивает. «Очень, очень неглупый вопрос, — удивленно констатирует Мельчук. — Сейчас отвечу».

Как-то раз он пожаловался мне, что один видный коллега, которого он, Игорь, по своему уважает и даже просил прочесть рукопись своей книги, перестал здороваться. Из расспросов выяснилось, что тот книгу прочел, но от замечаний воздержался, сказав, что все это ему не близко, он германист, компаративист и в тонкостях моделирования не разбирается. «Да нет, — сказал Мельчук, — мне как раз интересно мнение среднего лингвиста».

Разумеется, такой стиль поведения — да еще в сочетании с научным новаторством и политическим диссидентством — не мог привести ни к чему хорошему. Мельчук был постепенно отторгнут системой, как инородное тело, несмотря на огромные заслуги, популярность и готовность идти на компромиссы. Один забавный пример. Был период, когда он — неофициально и бесплатно — руководил договорной работой

лаборатории, где реализовывалась (на военные деньги) модель «Смысл — Текст». Ректор института, однако, так ненавидела Мельчука и так боялась то ли его дурного влияния, то ли ответственности (это было после подписантства 1968 г.), что запретила ему физически бывать в лаборатории. Она взяла честное слово с нашего шефа, что «ноги Мельчука не будет в Институте». Запрет (напоминающий сталинское запрещение Ворошилову, как английскому шпиону, бывать на Политбюро) соблюдался.

А потом, конечно, он устал от компромиссов, взбунтовался. Последовало письмо в «Нью-Йорк Таймс» в защиту Сахарова, часовое, вдохновенное и свободное выступление на языковедческой конференции в ИЯ (1975?) с лейтмотивом: «Давайте поговорим о нашей науке так, как будто мы не на конференции, где много посторонних (кивок в сторону начальства), а где-то на воле», и наконец, отъезд, то есть, смерть, воскресение, реинкарнация, как угодно...

Был и Гефсиманский сад. Из толпы друзей, учеников, поклонников, накормленных, излеченных, воскрешенных, в общем, никто не восстал против его увольнения из ИЯ «по профнепригодности». Да и заключительный аккорд той жизни был вполне в духе легенды. Когда он в последний раз махал друзьям со знаменитой галерейки в Шереметьеве, случившийся рядом совершенно посторонний провожант воскликнул: «Позвольте, но ведь это Мельчук?! Разве он уезжает?»

На моем горизонте Мельчук впервые появился в пятьдесят втором году. Я стал думать о поступлении на филфак, и мама сказала, что позовет «своего рыженького», который одновременно блестяще учится на филфаке МГУ и у нее в Музучилище (в Мерзляковском переулке), хотя времени для занятий у него почти нет.

Он провел у нас вечер, потешая всех рассказами об университетской жизни, в частности о том, как Петька Палиевский (будущий русит, замдиректора Института Мировой Литературы) на экзамене никак не мог удовлетворить преподавательницу марксизма-ленинизма, которая перебивала его громовым: «Неверно!» каждый раз, как он пропускал хотя бы одно слово в сакраментальной фразе из «Краткого курса»: «В 1934 году, после злодейского и подлого убийства Сергея Мироновича Кирова...»

Знание этого источника требовалось тогда (при жизни его автора — лучшего друга студентов) безупречное, и Игорь пронес его через всю жизнь. Когда в 1967 г. «Вопросы Литературы» напечатали нашу со Щегловым статью (в дискуссии о кибернетике и литературоведении), Мельчук, услышав, что этому способствовал редактор отдела теории некто Ломинадзе, вскричал: «Морально-политический урод?» — «Почему? Он симпатичный дядька». Оказывается, в «Кратком курсе» есть упоминание о «моральных уродах типа Шацкина и Ломинадзе», причем последний — отец нашего редактора. Забавно, что знакомство с Ломинадзе,

приведшее к публикации, началось тоже с соответствующей цитаты. Обратиться к нему посоветовал В. В. Иванов, сказав: «Есть у них один чудесный грузин...»

Провожая Игоря в тот первый вечер к метро, я задал ему неизбежный юношеский вопрос о счастье. Не колеблясь ни секунды, он ответил:

— Счастье это знать, что нужно делать, и делать это. Например, для меня счастье в том, чтобы описывать суффиксы испанских отглагольных существительных *-ción* и *-miento*.

В дальнейшем смысл жизни, счастье и единственная разумная цель лингвистики состояли в том, чтобы строить алгоритмы машинного перевода, в том, чтобы строить не алгоритмы, а исчисления, в создании модели «Смысл — Текст»... Все прочее каждый раз объявлялось ненужным и даже вредным. Как сказано у Шкловского: «Я верен любви — люблю другую».

Последующее десятилетие Игорь был для меня недостижимым научным кумиром, а потом еще десять лет мы проработали вместе над нашим «словарем нового типа». Несколько выдержек из разговоров Гёте с Эккерманом.

— Игорь, как бы не забыть эту мысль. Давай запишем.

— Не надо. То, что можно забыть, не стоит запоминать.

К лженаучным занятиям он относил всякого рода статистику, веруя исключительно в работающие дискретные модели.

- Только лентяи могут заниматься статистикой.
- Как это лентяи? Подумай, сколько труда и времени уходит на все эти подсчеты.
- Вот-вот, думать лень, они и считают.

Что касается создания работающих систем, то оно прекрасно шло на бумаге, но ввиду особенностей русской жизни все не получало технического воплощения. Одно время нашей любимой шуткой было называть себя братьями Ползуновыми. Была ли она пророческой? Сегодня братья имеют возможность наблюдать, как медленно, но верно, их паровоз изобретается американскими Уаттами и Стеффенсонами.

Разумеется, сказать, что не осуществлялось совсем ничего, было бы неверно. Однажды в декабре, то есть, в конце финансового года, на оставшиеся неизрасходованными институтские деньги я был командирован в Тбилиси. По рекомендации Игоря я познакомился с Гоги Чикоидзе и все время проводил с ним и его друзьями. Но представители другой ветви грузинского машинного перевода во главе с Гоги Махароблидзе тоже пожелали меня увидеть, поскольку я был чем-то вроде эмиссара Мельчука, которого они очень чтили.

В назначенное время я зашел к Махароблидзе в Вычислительный Центр. В просторной комнате сидела лаборантка; Махароблидзе не было. На стене висел аккуратный список: 31 синтаксическое

отношение Мельчука. Я решил дождаться Махароблидзе — девушка сказала, что он ненадолго спустился в столярную мастерскую ВЦ. Она рассказала также, что работает недавно, только два года. За это время она изучила алгоритм русского синтаксического анализа Мельчука и занимается его проверкой — вручную прогнала 60 фраз. Работа интересная, алгоритм хороший, она не жалуется. В общем, стало ясно, что если машина еще не моделирует человека, то человек уже вполне успешно моделирует машину.

А вскоре пришел Махароблидзе, огромный человек, с огромным носом, огромными глазами и огромными губами. В руках он держал какую-то полочку, изготовленную по его заказу для домашних нужд. Он пригласил меня к себе в гости и угостил на славу, поднимая бесконечные тосты за Мельчука, за московскую лингвистику, за машинный перевод и вообще за прогресс науки.

Вера в этот прогресс была основным кредо Мельчука. Философию он считал ерундой, но делал это, конечно, с определенных философских позиций, исповедуя крайний и вполне оптимистический рационализм. (Недаром, одна знакомая сказала про него, что он, хотя и анти-, но настоящий ленинец.) Философия, религия, всякие там гуманитарные печки-лавочки — безобидная, а чаще вредная болтовня, ведущая в конечном счете к

тоталитаризму. Поэтики никакой нет и быть не может — ну разве что Алику (то есть, мне), раз он такой умный, а главное, «свой», можно разрешить на досуге это странное времяпровождение, чтобы ему было хорошо и он лучше занимался делом, то есть, лингвистикой.

[В дальнейшем поэтесса лишилась и этого сомнительного оправдания, ибо я переключился на нее full-time. Призывы Мельчука вернуться от этой ерунды к лингвистике и мои извиняющиеся отказы сделались постоянным рефреном наших контактов в эмиграции. Однажды в Лос-Анджелесе, в гостях у особо скучных коллег, когда после обеда нужно было еще, перейдя в гостиную, вести светские беседы за коньяком и ликерами, Мельчук ужасно томился и все свое раздражение обрушил на меня. Он потребовал от меня объяснений, почему я бросил лингвистику. Чтобы снять нависшее напряжение и развлечь публику, я решил опробовать один давно просившийся ответ на этот вопрос.

В своем расщеплении языкового ядра мы в годы кибернетических бури и натиска ориентировались на великий пример гейдельбергских физиков 20-х годов, прославленный в как раз тогда вышедшей книге Д. Данина «Неизбежность странного мира» (1961 г.). Среди них мое воображение поразил Луи де Бройль — молодой

аристократ, гурман, донжуан, любитель верховой езды и автомобильных гонок и автор оригинальной статьи о природе света, проложившей путь к важному компромиссу между волновой и корпускулярной теориями. Разрабатывать эту находку во всей полноте и деталях он, однако, предоставил другим (Шредингеру и кому-то еще), а сам вернулся к скачкам и женщинам и вообще забросил физику. Прочитав об этом у Данина, я узнал во французском герцоге свой идеал и тоже возмечтал написать чего-нибудь эдакое, да и оставить бокал недопитым. И, значит, чем удачнее были наши лексические функции, тем эффективнее было ими ограничиться.

Игорь слушал с нарастающим отвращением. «Неужели это правда? Какая гадость, если это действительно так!» Я ответил что-то в том смысле, что все дискурс, и этот нарратив в том числе. Мельчук же продолжал твердить о гадости.

Чистым нарративом, кстати, оказался и романтический образ Луи де Бройля à la Рембо, не помню уже по чьей вине — моей или Данина. Реальный Луи Виктор де Бройль получил Нобелевскую премию, прожил долгую научную жизнь, написал классические труды по физике и вообще явил собою скорее прообраз Мельчука, нежели кого другого.

Что касается меня, то свой де-бройлевский проект я осуществил в полной мере.

Наезжая в Россию и видя промышленный расцвет апресьяновского лексического холдинга, я чувствую себя Остапом Бендером, вернувшимся в Черноморск миллионером и наблюдающим бурное функционирование *Гособъединения Рога и Копыта* («Вот навалился класс-гегемон — даже мою легкомысленную идею использовал для своих целей»), и вновь поражаюсь объяснительной силе любимого романа.]

Возвращаясь к Мельчуку 70-х годов и его взглядам на науку, лингвистика тоже хороша не всякая. Так, например, какая может быть польза от занятий (талантливого, милого, но странного) Арона Долгопольского ностратикой — гипотезой о родстве языков мира? Зная Игоря и в духе моей роли маркиза Позы при нем («Алику можно»), я однажды предложил ему такую апологию ностратики.

На Земле высаживаются представители высшей, разумной цивилизации. Они быстро разочаровываются в человечестве и задумываются, не вывести ли его по-быстрому в расход. О моральном его лице говорить не приходится, но и научные достижения не могут перетянуть чашу весов. «Ну, что вы еще там открыли?», — спрашивают пришельцы. Люди предъявляют синхрофазотроны, генетические коды, лексические функции Мельчука и Жолковского и т. п., но все это мало впечатляет утомленных высшим образо-

ванием марсиан. И тут, когда все висит на волоске, вперед выталкивают Арончика, который совершенно завораживает пришельцев рассказом об общем корне слов *черный, кара-кум и куро-сиво*, а тем самым и о родстве индоевропейских, урало-алтайских и дальневосточных языков. «Ну, если они до этого додумались, — качают головами марсиане, — то, пожалуй их можно оставить на развод». Таким образом беспредметные, казалось бы, занятия Долгопольского приносят ощутимую пользу: спасают человечество, в том числе многосемейного Мельчука с чадами и домочадцами.

Что и говорить, жизнь рационалиста в абсурдном мире тяжела, но иногда преданность прогрессу вдруг окупается. Помню, что когда он уезжал в эмиграцию (1977 г.), то ограничения и пошлины на вывоз книг, изданных до 1946 г., беспокоили его меньше всего: «Ну, что хорошего могло быть написано до 1946 года?!»

Нужны были поистине гротескные ситуации, чтобы поставить его в тупик перед противоречивостью собственных убеждений.

Как-то работая у меня, мы сделали перерыв, то есть, я лег на диван и поставил «Итальянский концерт» Баха в исполнении Глена Гульда, а Игорь занялся переписыванием набело. Он не любил работать при музыке, но все же слушал с удоволь-

ствии. Во время второй части он, не отрывая глаз от бумаги, сказал:

— Подумать только, что это было сочинено больше двухсот лет назад, в XVIII веке!

Я подыграл ему:

— Ну да, когда не было не только квантовой механики и булевой алгебры, но даже и порядочной теории электричества.

— Вот-вот, — подхватил он, — и ведь это не какие-нибудь там эмоции, а чисто интеллектуальная музыка, логика, разум!..

— Просто непостижимо, как эта обезьяна Бах, фактически еще не слезшая с дерева и к тому же вместо принципа моделирования верившая в дурацкого бога, могла написать столь разумную вещь, приемлемую для тебя! Ты это имеешь в виду?

— Логически рассуждая, да! — Он покрутил головой. — Хмырь болотный, как ты все это придумываешь? Я вижу, ты уже отдохнул, давай работать.

Наверно, именно в противоречии между смехотворно узкими рационалистическими прецептами Мельчука и его страстной, разнообразно одаренной натурой и заключался основной секрет его обаяния. Конечной целью и оправданием «правильных» научных занятий объявлялось создание такого общества, в котором все решения принимают машины, и, следовательно, безопасность и счастье его, Мельчука, детей не будут под угрозой. Гарантировано же это будет тем, что машины

создаст он сам. (Возражение, что технический прогресс, наоборот, ведет к конструированию foolproof machines, доступных любому идиоту, террористу и т. д., он с раздражением отметал.) Отсюда недалеко до другой его излюбленной идеи. «Человек это разум. Все остальное в нем от животного, все эти чувства, желания, всякое там подсознательное, искусство и проч. Человечество давно уже было бы счастливо, если бы все руководствовались разумом — как я».

Самое смешное, что в действительности он руководствовался не разумом, а тысячью желаний и потребностей, диктуемых всем его существом. В результате, он вечно куда-то спешил, опаздывал, писал рефераты в вагоне метро, разрывался на части между разными соавторами, большими родственниками, детьми, изданиями, походами, городами, — в буквальном смысле слова жил под огромным напряжением, так что у него, как у какого-нибудь прибора, от перегрузок все время выходила из строя то одна, то другая деталь: ломалась рука или нога, пропадал сон, начинали мучить фурункулы, не поворачивалась голова, разрушались зубы и т. д.

Очередной поломкой механизма стала затяжная ангина, которой он пренебрегал, бегая по делам, так что она привела к потере обоняния и вкуса. Тем не менее, он продолжал работать, только просил приехать к нему. За работой разговор, естественно, опять зашел о том, что человек

это разум. Потом идем ужинать, садимся за стол, Игорь говорит:

— Надо же, все так аппетитно выглядит, а я ничего не чувствую, ни запаха, ни вкуса.

Я говорю:

— Tu l'as voulu: колено у тебя из нейлона, в локте железо, вкус и обоняние потеряны, ты постепенно превращаешься в чистый разум. Чем ты недоволен? Ешь и знавай, что это нужно тебе для продолжения работы над созданием цивилизации мыслящих машин.

Однако, эта программа его явно не устроила. Он усиленно лечился антибиотиками и, в конце концов, вернул себе утраченные способности.

Помню, однако, что я с определенным удовлетворением наблюдал эту наглядную критику чистого разума. Здесь, конечно, и крылась привлекательность Мельчука. Нестерпимый блеск его научных и человеческих достоинств смягчался как очевидной наивностью его философских установок, так и теми полемками, которые то и дело выводили из строя эту совершенную машину. Чтобы на солнце можно было смотреть, на нем должны быть пятна.

Смягчался его героический облик и стилем его остроумия — что называется, уборнографическим. (У него было прозвище «доктор говнорис кауза» — настоящим доктором филологии он в России так и

не стал.) В сколь угодно дамском обществе он из любой точки разговора находил кратчайший путь к унитазу («веритас ин унитаз»). А с некоторых пор к этому добавились и сексуальные заявления самого лихого свойства, полные технических подробностей.

Однажды, во время лыжного похода в Хибинах (апрель 1966 г.) Игорь пустился в отчаянную похвальбу на этот счет в присутствии некой Наташи, математика и, по словам самого Мельчука, «знойной женщины». Тут, однако, номер со стыдом и срамом не прошел. «Слушай, Игорек, — сказала Наташа, утрированно блатным жестом отбрасывая сигарету и растирая ее ногой на снегу, — чего ты кипятишься? Пойдем, проверим». Она мотнула головой в сторону леса. Мельчук, как все сверхкомпенсанты, человек глубоко застенчивый, тут же замолчал, покраснел и совершенно сник.

Одним из литературных мечтаний Мельчука было написать подлинную историю советской лингвистики. (Недавно он опубликовал, как я понимаю, одну из ее глав — воспоминания о своем учителе А. А. Реформатском.) Игорь буквально смаковал различные анекдоты из жизни лингвистов. Как-то раз он пересказал мне следующий диалог между создателем аппликативной грамматики Шаумяном и его учеником Е. Л. Гинзбургом.

Гинзбург: Себастиан Константинович, я полагаю, что ваша модель потянет не меньше, как на аксиомы Риманова пространства.

Шаумян (удовлетворенно покручивая ус): Да-а, а вы мне не напомните, в чем... ээ... состоят аксиомы Риманова пространства, а то я что-то не вполне... ээ... удерживаю в памяти...

Гинзбург: Собственно... я... ээ... затрудняюсь, Себастиан Константинович.

Р. С. Игорь, с пятидесятилетием тебя. Прими и мою скромную главу и не обессудь, если что не так.

Убивает много

Когда в середине 50-х годов железный занавес слегка приоткрылся для контактов с иностранцами, советский человек стал (при всем своем скрытом, а то и явном расизме) смотреть на негра как на представителя западной цивилизации и был счастлив, если тот дарил ему шариковую ручку со стриптизом и даже без. Помню, как одна знакомая хвасталась, что рассчитывает достать дубленку у спекулянта, связанного со студентом-африканцем, который часто ездит в Европу и привозит дефицитные вещи. «Понятно, — сказал один из наших остряков. — Лиловый негр вам продает манто».

Занимаясь в 60-е годы языком сомали с сомалийскими студентами, я тоже как-то забывал, что

передо мной, в сущности, бесписьменные недавние дикари, что у них кровная месть и что их национальный герой «Бешеный мулла» Ина Абдулла Хасан перебил (в 1920-м году) больше своих соотечественников, отказывавшихся его поддерживать, чем англичан, против которых он поднял восстание. Еще бы, ведь нейлоновую сорочку, которая легко стирается и быстро высыхает уже выглаженной (чудо бытовой химии 60-х годов), я впервые увидел у сомалийца Махмуда Дункаля. После урока (я был у него в общежитии МГУ) он собирался в город. Когда он снял ее в ванной с плечиков, на которых она сохла, и стал надевать, я только рот раскрыл.

Поэтому другое, тоже в своем роде первое, впечатление было не менее сильным. Наши занятия начались с того, что он объяснил мне, что его имя, Дункаль, значит «ядовитое дерево», а также «герой». Я сказал, что не вижу этимологической связи.

— Ну как же, — пояснил Дункаль, — «убивает много».

Надо сказать, что по линии сорочек мой первый учитель вовсе не выделялся среди своих соотечественников. Настоящим франтом среди них был высокий, аристократичный, красивый Ахмед Абди Хаши по прозвищу Хашаре («насекомое» — так его прозвали еще в школе за крайнюю худобу), одевавшийся исключительно в Лондоне; перед моими глазами до сих пор стоит его тонкой вязки зеленый мохеровый пуловер. В дальнейшем я ра-

ботал с ним на Радио, был в довольно приятельских отношениях, но никогда не мог отделаться от ощущения собственной неполноценности рядом с этим принцем.

Ахмед занимал высокое положение в организации сомалийских студентов, обучающихся в СССР, имел сведения об их жизни в других городах и часто рассказывал мне о ненависти, с которой приходилось сталкиваться африканцам. Конфликты происходили в основном на классической почве секса, ибо советские девушки по тем или иным причинам разделяли преклонение перед иностранцами вообще и неграми в частности.

Однажды Ахмед должен был поехать в Баку, чтобы от имени африканского землячества участвовать в расследовании убийства двух сомалийцев. Чтобы отвести от нашей страны обвинение в линчевании негров, посягнувших на белую женщину, я стал говорить что-то в том смысле, что кавказцы дикий народ, ходят с ножами и готовы зарезать кого угодно, не только негра.

— Что ты мне объясняешь, — сказал Ахмед, сверкая зубами, — я сам могу зарезать.

В дальнейшем, как мне говорили, Ахмед был одно время послом Сомали в ГДР, а затем занимал видное положение в сомалийском правительстве. Сравнительно недавно способность сомалийцев «резать» и иными способами «убивать много», увы, подтвердилась самым наглядным образом на глазах у всего мира, убедительно доказав, что они ничем не хуже немцев, эфиопов, хуту, тутси, кхме-

ров, сербов, албанцев, чеченцев, русских и других представителей цивилизованного человечества.

Что делать

В заочной аспирантуре Института восточных языков при МГУ (1963-1967) я проходил только один курс — семинар по основам марксизма-ленинизма. Избранный мной язык сомали преподавать было некому, и его изучение было пущено на самотек, но о том, чтобы обойтись без марксизма в то время, да еще в институте, готовившем выездных переводчиков и шпионов, нельзя было и помыслить. Впрочем, преподавался этот предмет спустя рукава. Семинар вел не старый, но уже облысевший от философских занятий бледный еврей (фамилии не помню). Одного взгляда на меня ему было достаточно, чтобы полностью освободить меня от посещения — с единственным условием: в конце семестра (года?) я должен был подать реферат на какую-нибудь философскую тему, связанную с моей, аспиранта-заочника, непосредственной научной практикой.

Я никогда не разделял принятого среди моих друзей-филологов мнения, будто марксизм, ввиду своей ненаучности, логической противоречивости и лживой догматичности, не поддается изучению. Я полагал и полагаю, что, будучи тщательно разработанным словесным построением, своего рода атеистической мифологией, то есть, выра-

жаясь по-тартуски, вторичной моделирующей системой, марксизм, в том числе официальный советский, являет законный объект для филологического освоения. Я всегда имел по марксизму отличные оценки и благодарен советской системе образования за заложенные таким образом основы, по сей день позволяющие мне поддерживать непринужденные беседы с американскими коллегами на темы деконструкции и иных пост-модерных веяний гуманитарной мысли.

В качестве профессионального материала для реферата я избрал широко дебатировавшуюся в наших структурных кругах теорию лингвистической относительности, известную также под названием гипотезы Сэпира-Уорфа. В советском языкознании она постоянно подвергалась критике за релятивизм, подрыв категории объективной истины, а то и сомнительное, американско-империалистическое, происхождение ее авторов, конкретные отдельные заслуги которых в описании индейских языков, впрочем, признавались — со сдержанным одобрением. В реферате наверняка можно было ограничиться констатацией такого положения дел, слегка пожурив буржуазных специалистов Эдварда Сэпира и Бенджамина Уорфа за философскую недостаточность. Но интеллектуальное честолюбие и тайный диссидентский запал толкали меня на большее.

Начал я с постановки проблемы: как получается, что выдающиеся умы человечества, совершающие фундаментальные открытия в различных об-

ластях знания, — Павлов, Эйнштейн, Бор, Сэпир и другие, — оказываются неспособны постичь очевидные философские истины марксистского учения, которое, по словам Ленина, «всесильно, ибо оно верно»? Так сказать, чего им неясно, если башка у них вроде неплохо варит? За ответом я предлагал обратиться к классической работе Ленина «Что делать?».

Центральный тезис книги состоит в том, что коммунистическая идеология не может быть выработана пролетариатом самостоятельно, стихийно, путем естественного развития из задач экономической борьбы (как то утверждают западные социал-демократы либерального толка и их российские последователи). Она должна быть внесена в сознание рабочего класса извне, силами передовых идеологов-марксистов, отражающих подлинные, но, увы, не всегда отчетливо осознаваемые интересы этого класса. Для чего и требуется создание партии нового типа — партии профессиональных революционеров.

Далее мат ставился в три хода. Если пролетариат, то есть класс, в котором общественные формы его существования (массовый индустриальный труд, отчужденность от собственности и т.д.) закладывают начатки коммунистического сознания, а перспектива прихода к власти в результате социалистической революции развивает непосредственную заинтересованность в такой идеологии, — если даже пролетариат оказывается ей стихийно чужд, то чего же ждать от буржуазных

ученых, привыкших к индивидуалистическим формам труда и накопления и не принадлежащих к будущему классу-гегемону?! Поскольку, таким образом, рассчитывать на переход Эйнштейна, Сэпира и других релятивистов на марксистские рельсы философски некорректно, постольку в порядок дня ставится принудительное, а в случае необходимости и насильственное, внедрение в их головы марксистской методологии. С помощью ряда лингвистических примеров из языка хопи (исследованного Уорфом) и из области машинного перевода с английского на русский (разрабатывавшегося автором реферата) наглядно демонстрировался переход от ошибочной, релятивистской трактовки языковых явлений к единственно верной, марксистской.

Все это было написано единым духом, без помарок, и принесло мне желанный зачет и понимающую улыбку преподавателя. К сожалению, текст реферата у меня не сохранился. Я одолжил его кому-то из младших коллег по Лаборатории машинного перевода, тот переписал его и подал от своего имени, но оригинал не вернул, а передал дальше. Что было делать? Я утешался тем, что мой вклад в марксизм пошел по рукам — внедрился в народное сознание.

Small little story

Наша с Мельчуком работа над моделью «Смысл — Текст» проходила под эгидой Лаборатории машин-

ного перевода. Непосредственным начальником и пестователем Лаборатории был В. Ю. Розенцвейг, но на общеинститутском уровне она находилась в ведении проректора по научной работе Г. В. Колшанского. Колшанский относился к нам с тщательно разыгрываемой двусмысленностью, готовый погреться в лучах возможной славы, но в случае чего, отмежеваться напрочь. В очередном годовом докладе он отметил наши ценные разработки, но тут же дал обратный ход и пропел характерным гаерским фальцетом: «Но модель-то какая? Модель-то ма-а-ленькая!!»

Эта история припомнилась мне четверть века спустя, в Беркли, на славистической конференции, посвященной 1000-летию крещения Руси. Я там делал доклад об архетипической подоплеке рассказа Толстого «После бала». Дискутант — автор огромной монографии о Толстом, мною уважительно процитированной, — остался моим докладом недоволен. Впрочем, закончил он в дипломатично-извиняющем ключе:

— What do you want from a small little story?! (*букв.* «Что вы хотите от крохотного малюсенького рассказика?!»)

Меня подмывало ответить что-нибудь бендеровское, вроде того, что профессоров славистики, исповедующих подобный количественный подход к литературе, надо публично разжаловать в аспиранты, прямо тут же, не дожидаясь конца заседания. Однако в то время я переживал стадию старательного усвоения американского *comme il*

faut и потому возражать не стал, вообще отказавшись от ответного слова.

Я долго колебался, назвать ли мне этого монументалиста по имени, но чувствую, что не могу молчать: Ричард Гастафсон (Gustafson).

Скромность

Летом 1966 года, после лодочного похода по Карельскому перешейку оказавшись проездом в Ленинграде, я набрался дерзости позвонить В. Я. Проппу, чей номер узнал из справочной книги в телефонной будке. Представившись его поклонником и последователем, я напросился на визит, каковой состоялся 15.VII. 1966 (о чем свидетельствует надпись его рукой на моем экземпляре «Морфологии сказки» издания 1928 года), очень ранним утром, — так он назначил.

Дверь открыл человек примерно моих лет в спортивной одежде. Коридор был завален туристским снаряжением — рюкзаками, спальными мешками и т. п. В глубине коридора стоял сам великий Пропп — невысокого роста, слегка сторбленный, с большой головой и еще более непропорционально длинными руками. Этот гориллоподобный абрис поразил меня, как поразило и то, что он нисколько не ронял своего обладателя, скорее, наоборот, так сказать, à la Дарвин, удостоверял его статус специалиста по первобытному состоянию человечества. У Проппа был внушительный нос, большие ясные

глаза и тихий голос. Я попросил его сказать мне, когда уйти, он ответил, чтобы я не беспокоился, — я сам пойму.

С горящими глазами я стал объяснять Проппу, как его функции в сочетании с темами и приемами выразительности Эйзенштейна поведут к развитию кибернетической поэтики, а он в ответ сокрушенно говорил, что Леви-Стросс (прославивший его на Западе), «не понял, что такое «функция»», и опять навешивает ему сталинский ярлык «формализма»; что к нему часто обращаются математики и кибернетики, но что он во всем этом не разбирается и своим единственным долгом считает учить студентов аккуратно записывать и табулировать все варианты фольклорного текста.

— Вообще, — сказал он грустным монотонным голосом, — я жалею, что занимался всем этим. Вот мой сын — биолог. Он только что вернулся из Антарктиды. Он опускался на дно, видел морских звезд. Может быть, и мне посчастливилось бы сделать какое-нибудь открытие, — с шикарной скромностью заключил Пропп.

Дима Сегал, знавший Проппа более близко, рассказывал, как примерно в те же годы он вез его на такси в издательство «Наука» заключать договор на переиздание «Морфологии сказки» (книга вышла в 1969-м) и сказал ему, что вот, наконец, пробил его звездный час, и он может внести любые исправления, изменения, усовершенствования, включить дополнительные материалы (сохра-

нившиеся у него с 20-х годов!). Пропп помотал головой:

— Нельзя трогать, — сказал он. — Классика!

Ошибочные сочинения

Когда мы с Юрой Щегловым писали нашу первую совместную статью по поэтике («Вопросы литературы», 1967, № 1), мы обычно работали у него дома, в квартире на Каляевской, где он жил с отцом. Константин Андреевич, человек далекий от будней гуманитарной науки, как-то сказал:

— Вот вы стараетесь, пишете, а кто знает, может, спорить будут, скажут, неверно, ошибочно... А?

Юра ответил:

— Уверен, что скажут. Но дело в том, папа, что авторы так называемых спорных, ошибочных сочинений и сами редко заблуждаются на этот счет. Они заранее знают, что плоды их трудов окажутся ошибочными, и изо всех сил стараются написать как можно поошибочнее. Их беспокоит только одно — чтобы их ошибочное произведение увидело свет.

Юру очень забавляло слово «спорный» в значении «официально отвергнутый». Он повторял: «Спорная симфония, в ней много спорных тактов». Вспоминается знаменитый отзыв о Моцарте: «Слишком много нот!» (кажется, просвещенного монарха императора Иосифа II, композитора, иногда исполняемого по лос-анджелесскому радио).

Кофе потом

Во время Международного симпозиума по Машинному переводу в Ереване (весна 1967 г.) одним из почетных иностранных гостей был Дэвид Хейз. Он был, конечно, самой примечательной фигурой симпозиума — огромный, наверно, больше двух метров роста, в гигантских выпуклых очках и с голосом и манерой говорить, как у диктора Voice of America in special English. Феликс забавно передразнивал его смех.

Армяне ужасно ухаживали за ним и хвастались всем армянским — от специализированной машины для перевода «Гарни» до всяких армянских кушаний и обычаев. Как-то в перерыве между заседаниями в одной из комнат Вычислительного Центра во время перерыва сотрудницы угощали некоторых участников, в том числе Хейза, кофе. Был и Феликс, одно время живший в Ереване и работавший в ВЦ и теперь взявшийся переводить.

— А знаете, как делают настоящие армяне? — сказал кто-то из хозяев. — Армянин сначала затягивается сигаретой, затем выпивает чашечку кофе, а потом выпускает наружу дым!

— И только потом уже кофе, — закончил свой перевод Феликс.

Зоосемиотика-68

На Международной конференции по семиотике в Варшаве (август 1968 г.) участники иногда до смеш-

ного плохо понимали доклады друг друга. Вершиной этой неразберихи был доклад Пемброка (ГДР) по зоолингвистике.

Доклад ожидался с большим интересом. Еще перед приездом Пемброка говорили, что он просил встретить его на вокзале, так как он собирается привезти с собой живые экспонаты. В середине сцены, на доске докладчик развесил таблицы, которые потом часто менял. В левом углу стоял магнитофон с записями. Животных видно не было.

Полагая, что общие положения публике и так хорошо известны, Пемброк начал прямо с какой-то очень конкретной схемы, чуть ли не с модели синтеза речи у животных. Поэтому непонимание началось сразу же, причем оно усугублялось тем, что оратор то и дело забывал английские слова, и тогда аудитория раздражалась разнообразием подсказок.

Говорил он по-английски плохо, но ничуть не смущался ни этим, ни тем, что никто не понимает и сути доклада. Он говорил с воодушевлением и детской улыбкой чудака-ученого, который погружен в свое дело и уверен, что все интересуются тем же. Он включил магнитофон, и оттуда понеслось какое-то урчанье. Лицо докладчика осветилось улыбкой понимания, и он побежал к схемам со словами: «Это львица, вот, видите эти линии на осциллограмме?» Но тут с магнитофонной ленты стали доноситься уже другие звуки. Пемброк на секунду задумался, потом нежно улыбнулся, показал что-то на схеме, сказал: «Это детеныш крокодила...»

Из магнитофона раздавались все новые и новые рыки, свисты, писки и скрипы — до самого конца доклада. Пемброк перебежал от схем к магнитофону, потом опять к диаграммам, менял их, вслушивался, расцветал от понимания, что-то пояснял, говоря уже наполовину по-немецки и совершенно не глядя в зал. В общем, его доклад сочетал поразительное проникновение исследователя в язык животных и его полнейшую неспособность найти общий язык с собравшимися. Впрочем, последнего он не замечал. Аудитория же откровенно веселилась.

Между тем, насколько можно было понять из напечатанных тезисов, речь шла о вещи очень правдоподобной, хотя и смелой. А именно — что все животные и даже человек в первые месяцы жизни в сходных ситуациях пользуются сходными типами речевых сигналов.

Мой первый шатобриан

В перерывах между заседаниями семиотической конференции, «буржуазных иностранцев» — итальянцев, французов и других представителей стран НАТО — водили на ланч в варшавский Дом Журналиста, известный своей хорошей кухней. Сначала их сопровождали гостеприимные поляки, но потом они как-то освоились и решили пойти сами. Правда, потребность в славяноговорящем посреднике все-таки осознавалась, но с ними был я, и они не беспокоились.

Как назло, все складывалось очень нелепо. Долго составляли столики, долго не шла официантка, бесконечно долго выбирали блюда, что неудивительно, если учесть, что я, как мог, переводил с польского на французский и итальянский с примесью английского, обнаруживая ограниченное владение всеми этими языками, а главное — языком европейской гастрономии.

С муками заказанное долго не несли. Впрочем, иностранцы не унывали. Они оживленно обменивались впечатлениями о студенческих волнениях той весны в своих странах и, заказав неведомый мне «шатобриан», терпеливо дожидались его появления, видимо, черпая уверенность в самом названии этого явно западноевропейского блюда.

Однако, когда его, наконец, принесли, разочарование было жестоким — варшавский шатобриан, повидимому, значительно уступал в размерах атлантическому. Г-н Линдекенс (Бельгия) протянул:

— Mais... c'est plutôt un Chateaubriand de poche («Позвольте, но это какой-то карманный Шатобриан»).

Так или иначе, на меня шатобриан (особым образом приготовленный бифштекс из вырезки) даже в карманном издании произвел неизгладимое впечатление, и я везде, где мог, заказывал именно его. Как я потом узнал, его название действительно происходит от имени писателя, который в бытность послом в Англии славился, благодаря кулинарному искусству своего повара, роскошными приемами.

Что же касается оппозиции «НАТО — Варшавский договор», то конференция состоялась поистине в минуты роковые, начавшись всего три дня спустя после вторжения в Чехословакию «братских сил» социалистического лагеря. Один из участников, Умберто Эко (тогда известный лишь в семиотических кругах), задумал было совершить автомобильное путешествие из Италии в Польшу, но был остановлен на чешской границе и вынужден пересечь на самолет.

А Роман Якобсон, под эгидой которого должна была проходить конференция и который на пути в Варшаву остановился в Праге, выглянув утром в окно, увидел на площади перед гостиницей танки. За тридцать лет до этого в той же Праге его уже заставляли танки — немецкие. Он позвонил своей жене, Кристине Поморской, приехавшей в Варшаву — на родину — заранее, и сказал, что медленно улетает в Париж и будет ждать ее там...

Шок от вторжения был так велик, что западные семиотики (Эко, Крыстева, Метц и другие), в большинстве своем люди левых взглядов, обходили его молчанием, предпочитая такие безопасные темы вроде американской интервенции во Вьетнаме. Однажды за обедом (в гостинице «Европейская») я не выдержал и спросил:

— Но почему вы во всем вините американцев?..

Ответом было принужденное молчание, как будто я издал неприличный звук.

Точно так же держались двадцать с лишним лет спустя либеральные интеллигенты-американцы,

мои коллеги по Национальному Центру Гуманитарных Исследований в Северной Каролине, считавшие вооруженный отпор Саддаму Хуссейну (1991) проявлением милитаризма. На мое предложение демонстрировать за мир не в Нью-Йорке, а в Кувейте и Багдаде, они отвечали молчанием. А на другой же день после молниеносной операции «Самум» (не так ли надо переводить «Бурю в пустыне»?) вообще оставили эту тему.

Оппозиция «свое»/«чужое»

Незаслуженно забытый эпизод шумной истории советской семиотики — организованный осенью 1968 года редакцией «Иностранной литературы» Круглый стол о структурализме, с участием В. Б. Шкловского, Б. Л. Сучкова, П. В. Палиевского, Е. М. Мелетинского, В. В. Иванова и многих других, включая нас со Щегловым. Дискуссия была острая, несмотря на заметное сгущение идеологических сумерек брежневской эпохи после вторжения в Чехословакию.

Структуралисты выступали более или менее единым фронтом. Помню, что Мелетинский специально просил меня вести себя помягче — совет, которому я, находясь в тот момент под угрозой увольнения с работы как подписант и соответственно полагая, что мне сам чорт не брат, не последовал. В частности, к официальному руководителю советского литературоведения — директору ИМЛИ Б. Л. Сучкову, много представительство-

вашему за границей и с ног до головы облаченному в импортную замшу, я обратил запальчивую речь о том, что гонимый ныне структурализм в недалеком будущем придется ввозить за валюту.

Неизгладимое впечатление произвел на меня вечный диссидент Г. С. Померанц, говоривший о феномене культурного кода. Это новое тогда понятие он проиллюстрировал сравнением экономических успехов ФРГ и неудач Иордании, — двух стран, вынужденных после военной разрухи начинать с нуля. Всего лишь через год после победоносной шестидневной войны Израиля против арабов, в обстановке официальной антисемитской пропаганды и к тому же из уст опального еврея это звучало дерзостью невероятной.

Но дискуссия продолжалась как ни в чем не бывало. Разумеется, Померанцу был дан отпор. Эту операцию взял на себя сам Сучков. Хотя, судя по всему, о культурном коде он услышал впервые, это не помешало ему указать Померанцу на неправильное — немарксистское — понимание им этой категории.

У Сучкова была репутация относительно либерального советского босса, успешного и посидеть и очень ценившего выездные аспекты своего положения. Поэтому до недалекого будущего он не дождался — скоростно скончался после одной из заграничных командировок, видимо, надорвавшись на непосильной задаче разъяснения американцам загадочной природы соцреализма. Не дождался импорта структурализма и я, в конце концов, вые-

хавший за валютой непосредственно на Запад. Что касается материалов Круглого стола, то они так никогда и не были опубликованы.

Плохой студент

От Юры Щеглова часто можно было слышать жалобы на студента Г. Что Г. не старается, Г. слишком высокого о себе мнения, Г. не способен к лингвистике, Г. не интересуется языком хауса, одним словом, худшего студента, чем Г., трудно вообразить. В адрес Г. направлялось много горьких слов. Очередную ламентацию Юра начал так:

— Например, когда я занимаюсь со студентом Г...

Я перебил его:

— Прости, а почему, если он такой плохой студент, ты с ним занимаешься индивидуально? Это что, какие-то дополнительные занятия для отстающих?

— Да нет, самые обычные занятия языком. Г. — единственный студент в группе хауса.

— А где же остальные? Я помню, что у тебя было много народу в группе.

Юра объясняет, что остальные студенты отсыпались за четыре года — одни по лени, другие по неспособности, третьи перевелись в другие группы или на другие факультеты. Но, собственно, и одного студента вполне достаточно, чтобы акт коммуникации состоялся: есть отправитель, есть получатель, а большего, по Соссюру, и не требуется.

— Позволь, но в таком случае Г. не самый худший, а самый лучший твой студент!

— И потом он неприятный. Он прекрасно понимает, что если бы он заболел или по другой причине не явился на занятия, то я был бы свободен и только благодарен ему за это, но он никогда этого не делает...

Эта история напомнила мне мои собственные взаимоотношения с Юрой. Он человек очень сам по себе (то, что по-английски называется *his own man*) и мало с кем готов иметь дело. Я как-то сказал ему, что он должен благодарить судьбу, позаботившуюся создать еще один хотя бы отчасти подобный экземпляр, промежуточный между ним и человечеством. Эту его удачу я оплачиваю дорогой ценой. С точки зрения окружающих, разница между мной и им пренебрежимо мала, для него же я — во всем противоположный ему типичный представитель людской массы.

Лингвистические задачи и тайны творчества

В пору структурных бури и натиска среди прочего были модны лингвистические задачи. Я ими не увлекался. Выдающимся мастером, если не основоположником жанра, был А. А. Зализняк (ныне академик), первым опубликовавший целую статью на эту тему, а затем занимавшийся составлением задач для математико-лингвистических олимпиад. Другая его уникальная статья — о семиотике правил уличного движения — обязана была своим про-

исхождением тому, что Андрей одним из первых в нашем поколении сделался водителем транспортного средства, сначала мотороллера, а затем и автомобиля. На пересечении этих двух его интересов и выросла знаменитая непристойная задача, на моих глазах сотворенная им из житейского сора.

Я был у него и Е. В. Падучевой в гостях с одной коллегой, и в какой-то момент он стал рассказывать, как после занятий он выезжал с территории Университета. (Дело происходило году в 1970-м; филфак уже располагался на Ленинских горах.) Неловко разворачиваясь, Андрей на своем маленьком «Москвиче» чуть не угодил под колеса огромного самосвала, шофер которого высунулся из кабины и заорал... Тут Андрей разыгранно осекся и продолжал уже на сдавленном смехе своим характерным фальцетом, приберегаемым для подобных артистических эффектов:

— При дамах я не могу буквально повторить то, что он сказал. Поэтому я переведу его реплику на семантический язык или, лучше, на куртуазный язык «Тысячи и одной ночи»: *О, неосторожный незнакомец! Пожалуй, следовало бы наказать тебя ударом по лицу...*

Упоминание о семантическом языке было реверансом в мою сторону — мы с Мельчуком в то время усиленно занимались расщеплением смыслов.

— При этом, — продолжил Андрей, — все богатство значений, заданных элементами «неосторож-

ный», «наказать», «удар» и «лицо», было передано с помощью ровно трех однозначных слов, образованных от одного и того же корня. Задача имеет одно решение, — торжественно закончил он.

Дамы, естественно, ничего не поняли, а я, к своей чести, нашел ответ довольно быстро. Единственность решения и, значит, разгадка определяется бедностью матерной синонимии в обозначениях «лица», тогда как в передаче остальных ключевых сем веер возможностей гораздо шире.

Свои неплохие показатели в этом случае я объясняю тем, что задача была поставлена, так сказать, в условиях, приближенных к реальным. Она не носила формально-экзаменационного характера, и ее решение имело практический смысл — узнать, в присутствии, но помимо дам, что же именно сказал носитель народной мудрости (прибегший к корню нашего главного, скажем так, экзистенциального глагола.)

Жизненными соками питалось и мое единственное выступление на ниве дешифровки. Это было, если не ошибаюсь, летом 1969-го года. Я приехал погостить к папе в Дом Творчества Композиторов под Ивановом и нашел там блестящую музыкальную компанию.

Гвоздем сезона были знаменитый скрипач с женой и приятелем-пианистом: Б. — полноватый, солидный, в привезенном из зарубежных гастролей пробковом шлеме; его жена, С. — миниатюрная, но надменная красавица; и Д. — здоровый циник-весельчак с крепкими руками фор-

тепианного чемпиона. Между чаем и ужином, во время, так сказать, файв-о-клока, обычно заполняемое прогулками и сплетнями, они устраивали перед столовой сеансы угадывания мыслей на расстоянии.

То есть, не угадывания, а, как они подчеркивали, передачи, — вполне реальной передачи, основанной на глубокой личной и творческой близости душ. Происходило это так. Кто-нибудь из публики сообщал на ухо одному из троицы, например, Б., имя задуманного им великого человека. Б. принимал сосредоточенный медиумический вид, с руками у висков, и, бросая завораживающие взгляды в направлении стоявшего шагах в десяти партнера, например, С., заклинал:

— Он тебе известен! Он тебе известен! Его ты знаешь! И говори, кто!..

— Чайковский, — мгновенно перебивала его С. под восхищенные возгласы толпы. Загадывалось следующее имя.

— Лови мою мысль! Будь внимательна! Но ты его знаешь! Он тебе известен!..

— Бетховен!..

И так далее, с теми же однообразными словесными пассажами и той же молниеносностью ответов.

Для меня, сына самого Мазеля, да еще и представителя кибернетической лингвистики, срывающей последние покровы с тайн мышления и речи, это был вызов, которого нельзя было не принять.

— Очень интересно, — поднял я перчатку, — посмотрим, как вы это кодируете.

— Да что вы! Мы ничего не кодируем. Мы просто задаемся образом великого человека, и этот образ передается благодаря общности наших психических процессов. Это как музыка, как стихи. Мы настраиваемся на единую творческую волну. Кстати, неслучайно, что лучше всего передаются образы великих художников, вызывающие богатые эстетические ассоциации.

— Но вы все-таки позвольте мне записывать произносимые вами фразы?

— Записывайте сколько угодно. Вы убедитесь, что они не при чем. Передаются не имена, а образы. Заметьте, что фразы всегда одни и те же, и они вовсе не шифруют искомым букв.

Действительно, Чайковский получался безо всяких «ч» и «й», а Бетховен — хотя и с «б», но лишь во второй фразе, и уж явно без «х». Что касается фраз, то они повторялись с небольшими вариациями, лишь иногда удивляя неестественными эмфазами, вроде «Его ты знаешь!», «Но ты его знаешь!» или «И говори, кто!», что впрочем, мотивировалось «гипнотическим» тоном речи.

Публично объявив, что трех дней мне с лихвой хватит для разоблачения черной магии, я приступил к протоколированию опытов. Членов виртуозного трио это только забавляло, и я заметил, что иногда они с издевательскими улыбками продлевали передачу, вкрапляя в нее какие-то им одним понятные хохмы.

— Его ты знаешь! И будь внимательна! А он тебе известен! И лови мою мысль! Шевели мозгами! Подумай хорошенько! И его ты знаешь! Назови его!..

— Жорж Санд!

Публике явно предлагалось оценить добросовестность медиума, описавшего Жорж Санд в мужском роде, демонстративно отказавшись от дешевых подсказок. В то же время сексуальные коннотации ее облика, каким-то образом витали в воздухе, подогреваемые двусмысленными улыбками медиумов. Впрочем, мое исследовательское внимание было больше задето стилистически торчавшим оборотом «Шевели мозгами». Но какое отношение он мог иметь к Жорж Санд, оставалось загадкой.

Состязание продолжалось уже два дня, корпус данных рос, а решение все не приходило. Следует сказать, что деятельность расшифровщика, включая легендарного Шамполиона, лишь в малой степени строится на «точных методах». Ее настоящим двигателем является честолюбивая уверенность ученого в своей миссии, поддерживающая его кропотливые, долгие, но бесплодные усилия до тех пор, пока счастливая случайность вдруг не валится ему прямо в руки. Тут-то и бьет час интуиции.

Рано или поздно случайность должна была произойти, тем более, что зарвавшиеся медиумы вели себя все неосмотрительнее. И она произошла.

— Он тебе известен! И ты его знаешь! Цепляйся за мою мысль! Ты его знаешь!..

— Тургенев!

Нескладное «цепляйся» до тех пор ни разу не появилось в моих протоколах и этим напоминало аналогичное «шевели». Зачем, вместо привычных «Думай...!», «Подумай...!», «Говори...!» или, на худой конец, «Лови...!», нужны эти «Шевели...!» и «Цепляйся...!»? Простейшая догадка состояла в том, что понадобились они — вопреки заверениям медиумов — ради редких начальных букв: «ш» и «ц». Но в таком случае вопрос принимал вполне конкретный вид: Что делает буква «ш» в Жорж Санд и буква «ц» в Тургеневе?

На первый взгляд, ничего. Разумеется, второе «ж» в имени Жорж оглушается, но вряд ли дело в этом. А уж к Ивану Сергеевичу Тургеневу «ц» не имеет никакого отношения. А впрочем, так-таки ли никакого? Где у Тургенева «ц»? Известно, где — в названии его главного романа: «Отцы и дети»!

За это действительно можно было уцепиться. Обратившись к тургеневскому протоколу, мы легко находим «о» в начале первой фразы («Он тебе известен!»). Но вторая и четвертая не начинаются с «т» и «ы»! Правильно, не начинаются, но продолжают именно ими — в качестве вторых букв! Иными словами, в нечетных фразах считается первая буква, а в четных — вторая. Перед нами действительно своего рода стихи, и они действительно передают не имена творцов, а созданные ими образы. Но все-таки — по буквам.

*Он тебе известен!
И Ты его знаешь!
Цепляйся за мою мысль!
Ты его знаешь!..*

Я тотчас кинулся к собранному материалу и убедился, что несложное правило работало во всех случаях. «Онег...» легко давал (в музыкальных кругах) Чайковского, «Лунн...» — Бетховена и т. д. Интригующий вопрос о связи «ш» с Жорж Санд читатель уже в состоянии разрешить сам (а заодно оценить переключку этой шарады с загаданной Зализняком).

На другое утро — в последний день взятого мной срока — я предупредил папу, что за завтраком произойдет небольшой сюрприз. Наш стол был на веранде, и путь к нему лежал через главный зал, где сидели Б. и С. Проходя мимо них, я громко проскандировал:

— Кто он? Думай хорошенько! Кто он? Думай хорошенько!

Они приняли это за беззубую имитацию их фразеологии и отвечали насмешливыми вопросами, когда же кибернетика скажет свое слово. Сдерживая внутреннее торжество, я смолчал, и под эти смешки мы проследовали на веранду. Но не прошло и минуты, как сработало то, что в американском кино называется double take, — мое «куку!» дошло. Они прибежали с озабоченными лицами и склонились надо мной, умоляя не выдавать их. Я великодушно согласился и в дальнейшем иногда

выступал вместе с ними. Публике было объявлено, что кибернетика проникла-таки в тайны творчества.

Полки вел...

У Ильфа и Петрова есть фельетон «Рождение ангела» — на тему о коллективной доводке киносценария — с незабываемой фразой: «Полки вел Голенищев-Кутузов 2-й».

В 1970 году в журнале «Народы Азии и Африки» появилась моя статья со структурным анализом одного сомалийского текста. Этому предшествовало ее одобрение главным редактором И. С. Брагинским (наложившим ленинского типа резолюцию: «Дать, снабдив марксистской врезкой *От редакции*») и последующее медленное продвижение в печать. (Структурализм был внове — мое появление в редакции встречалось драматическим шепотом: «Структуралист пришел!»). Но вот, наконец, мой редактор Лева К. сказал, что в определенный день, точнее, вечер, на редколлегии будет решаться вопрос о сдаче номера в типографию и мне желательно быть под рукой на случай, если возникнут вопросы.

В назначенный час я прохаживался по коридору редакции, время от времени подглядывая в щелку за происходившим в огромном кабинете главного. Самого Брагинского не было, и председательствовал его заместитель Г. Г. Котовский — сын легендарного комбрига, как объяснил мне

выглянувший в коридор Лева. Ждать пришлось долго — каждый материал обсуждался со всей подробностью. Впрочем, проблематичными, видимо, считались лишь две статьи, ибо, кроме меня и пожилого человека с усталым, чем-то знакомым, желтым, татароватым лицом, в коридоре никого не было.

Меня на ковер так и не пригласили, но о потраченном времени жалеть не пришлось. Во-первых, статья пошла в номер без дальнейших разговоров, а во-вторых, когда Лева вышел позвать в кабинет другого, явно более спорного автора, он почтительно назвал его Львом Николаевичем, и я сообразил, что это был очень похожий на мать сын Ахматовой и Гумилева. Его лагерные мытарства остались к тому времени давно позади, а собственная репутация шовиниста-этногенетика только набирала силу, и он все еще ходил в диссидентах; публикация в «Народах Азии и Африки» была, по видимому, нужна ему и отнюдь не гарантирована. Подстрекаемый любопытством, я проскользнул в дверь вслед за ним.

Полки вел Котовский 2-й. В противоположность брутальному бритоголовому гиганту, созданному усилиями Каплера, Файнциммера и Мордвинова (и его, вероятно, еще более жуткому прототипу), он оказался вальяжным, с пухлыми щеками и аккуратной прической, советским джентльменом, среднего роста, при галстукке и в замшевых туфлях. Ничто в его вкрадчивых манерах не наводило на мысль о конском топоте,

сабельных атаках, тачанках, погромах, трупах. Мягкими, дипломатично закругленными фразами он заговорил об интереснейшей статье почтеннейшего Льва Николаевича. Я все ждал, когда же он совершит свой выпад, и — после изматывающих комплиментарных подступов — дождался.

— Чего мне, может быть, недостает в статье многоуважаемого Льва Николаевича, — все с той же воркующей ласковостью сказал он, — это четко применения классовых, историко-материалистических критериев. Возможно, оно просто недостаточно бросается в глаза при первом чтении, и Льву Николаевичу, я думаю, самому представится желательным дать эти моменты более, так сказать, выпукло.

Гумилев заговорил со столь невозмутимым спокойствием, что я ему немедленно позавидовал. За его преувеличенной восточной любезностью стояла не только бескомпромиссная, ахматовской закалки твердость, но и вызывающая, пусть символическая, апелляция к насилию, в которой скрывался то ли киплинговский налет, унаследованный с отцовскими генами, то ли собственный эзовский опыт.

— Благодарю вас, глубокоуважаемый Григорий Григорьевич, за незаслуженно лестное мнение о моем скромном опусе. И вы абсолютно правы насчет классового подхода, каковой в нем, действительно, не нашел применения. Дело в том, что меня интересуют исторические

закономерности более общего порядка. Позволю себе совершенно отвлеченный пример. Если, скажем, взять какого-нибудь человека, поднять его на самолете на высоту в несколько тысяч метров над каким-нибудь пустынным местом и сбросить оттуда вниз, то можно с более или менее полной достоверностью предсказать, что, ударившись о песок, он разобьется насмерть. И для того чтобы прийти к этому научному выводу, вовсе не потребуется учет классово-принадлежности этого человека и социальных взаимоотношений между ним и владельцами самолета. Так что я не думаю, что мой текст нуждается в каких-либо добавлениях, разве что вы, Григорий Григорьевич, настаивали бы на включении в него этого небольшого мысленного эксперимента.

Котовский настаивать не стал. Это было неудивительно, ибо как раз незадолго перед тем в мировой и советской прессе появилось сообщение (которое никак не могло пройти незамеченным в среде востоковедов) о казни каких-то преступников в Саудовской Аравии методом сбрасывания с самолета, сообщение, политически крайне неудобное с официальной советской — подчеркнуто проарабской — точки зрения. Обсуждение статьи на этом закончилось, и она появилась в журнале без изменений.

Таков был исход уникального династического матч-реванша.

Она его любит

В связи с концептуальной пропастью между традиционным советским литературоведением и новаторским тогда структурализмом, вспоминаются перипетии опубликования в «Известиях АН СССР» моего разбора «Я вас любил...» (1977). Доброжелатели, причастные к редакции журнала, устроили мне встречу с его главным редактором и главным официальным пушкиноведом академиком Д. Д. Благим. Перспективы переговоров с ним, несмотря на мрачные аспекты этой фигуры, представлялись мне не совсем безнадежными ввиду моего уважения к его ранней, социологической книге о Пушкине (1931), уважения, вызывавшего у некоторых коллег-семиотиков снисходительную усмешку.

Аудиенция состоялась летним вечером у Благого на даче. Он уже ознакомился с моей рукописью, но ее обсуждение вылилось в разговор глухих. Там, где я акцентировал амбивалентности, инварианты и структурные параллели с другими пушкинскими текстами (например, 8-й главой «Онегина», «Каменным гостем» и т. п. — в духе новооткрытой тогда работы Якобсона о статуях у Пушкина), Благой держался сугубо житейских категорий.

— Ну да, конечно, ведь она [Татьяна] его любит, — с чувством повторял он.

Дело с публикацией статьи застопорилось, и снова пришло в движение лишь после смерти Бла-

гого и перехода «Известий... СЛЯ» в руки партийного, но либерального и порядочного Г. С. Степанова. При активном содействии зав. редакцией В. И. Левина, Степанов стал пробивать мою статью на редколлегии. К моему удивлению, процесс оказался трудным, многоступенчатым; но, в конце концов, он увенчался успехом. Подчеркну, что ничего идеологически спорного или эзоповского в статье нет. Сопrotивление вызывал именно непривычный структурный дискурс – чуждый традиционалистам, наверно, не менее, чем многим структуралистам сегодня чужд дискурс деконструкции.

В структурном же лагере, напротив, царил убежденность в полной и окончательной разрешимости всех задач литературоведения «точными» методами. Помню, как Боря Успенский сообщил мне, что только что отдал в печать свою «Поэтику композиции» (1970) и больше заниматься поэтикой не намерен, ибо все основное теперь уже сделано. Незабываема также фраза, которой В. К. Финн, классик советской информатики, со скромно-торжествующей улыбкой закончил один из своих докладов, блиставших виртуозным применением математической логики:

— ... И тогда поэтика, подобно квантовой механике, замкнется как сугубо формальная теоретическая дисциплина.

Чем хуже, тем лучше

В 1968 г. Юра Щеглов хотел поехать на Симпозиум по семиотике в Варшаву, но в Институте Восточных Языков, где он преподавал язык хауса, ему не дали характеристики, мотивируя это тем, что он мало внимания уделяет общественной работе. Это была стандартная формула, означавшая, что начальство не считает сотрудника «идеологически выдержанным», т. е. попросту, «своим»; характеристика же требовалась даже при поездке по частному приглашению. Поехать Юра, собственно, не очень и стремился, но отказ он воспринял как оскорбление, и на другой день я встретил его около кабинета ректора ИВЯ Ковалева со следующим заявлением, написанным зелеными чернилами, в руках:

«Прошу освободить меня от работы в ИВЯ. Моя просьба вызвана намерением сосредоточиться в дальнейшем исключительно на общественной работе».

Текст я оценил, но все-таки убедил Юру облечь свой протест в более традиционные формы. В результате, с начальством был достигнут компромисс, и в следующий раз, через год или два, характеристику выдали.

Перед поездкой, на этот раз совершенно уже частной, Юра стал советоваться со мной, бывавшим в Польше несколько раз, и я, среди прочего,

сказал, что следовало бы повидать директора Института Литературных Исследований профессора Марию-Ренату Майенову, столько сделавшую для советских семиотиков, в том числе и для нас с ним. Видно было, однако, что эта перспектива (как и вообще любые предписываемые долгом контакты) ему не очень улыбается.

Он поехал и вскоре вернулся, даже не отбыв дозволенного месячного срока целиком. Рассказывал о поездке кисло.

— Ну, а у Майеновой ты был?

— Был.

— Ну, и как?

— Она, конечно, дама европейского воспитания. Была со мной в высшей степени любезна.

— В твоих словах чувствуется холодок.

— Почему? Я нанес ей визит, на котором ты настаивал, и он прошел вполне гладко.

— Но этим все и кончилось?

— К тому же, ее интересовал не столько я, сколько разные московские коллеги. Особенно она была озабочена судьбой А. (подписанта, которому грозило увольнение с работы).

— Ну, ты ей рассказал?

— Видишь ли, я не имел ни малейшего представления о том, как обстоят дела у А. Но по ее интонации я понял, что чем хуже положение А., тем это лучше для нашего с ней разговора, и постарался, как мог, обрисовать все в самом черном свете. По-моему, она осталась довольна.

А поворотись-ка, сынку!

Борьба с превосходящими силами советской власти (последствия подписантства; 1968-1969) особенно сильно ударила по моему желудочно-кишечному тракту. Пришлось лечь на обследование в Институт Гастроэнтерологии.

Я хороший пациент — охотно прохожу осмотр, четко слеую указаниям врачей, умело глотаю лекарства. А в Институте я наловчился заглатывать и разнообразные резиновые шланги и трубки и мог как ни в чем не бывало беседовать со знакомыми, прогуливаясь по больничному коридору с зондом, опущенным куда-то там в глубь моей поджелудочной железы, ухарски держа его мундштук между зубами.

Анализам не было конца, а на мои вопросы о диагнозе молодая врачиха, видимо, писавшая на мне диссертацию, невозмутимо отвечала:

— Не беспокойтесь, диагноз выставим.

Очередным испытанием моих талантов пациента стал сеанс ректоскопии. Меня отвели в кабинет к врачу-проктологу, окруженному целым виводком молодых людей в белых халатах.

— Надеюсь, как человек науки, вы не против участия моих студентов-практикантов? — сказал он.

Я не стал возражать и покорно принял так называемое коленно-локтевое положение. На мой, выражаясь бахтинским языком, обнаженный материально-телесный низ было наброшено специ-

альное белое покрывало с отверстием посередине. В отверстие ввели ректоскоп — прозрачную трубку, через которую при свете специальной маленькой лампочки можно наблюдать состояние стенок. Испытавшие эту процедуру знают всю меру дискомфорта, вызываемого давлением трубки: ощущение такое, как будто ты вот-вот взорвешься. Дискомфорт усугублялся присутствием зрителей, но — чего не потерпишь ради науки?!

Процедура, однако, затягивалась. Сначала врач говорил, сколько минут еще оставалось до конца, но потом они с медсестрой стали шушукаться, я прислушался и уловил какие-то странные реплики:

— Запасной нет... Там закрыто... Может, на третьем?..

— Что происходит? — спросил я.

— Лампочка в ректоскопе перегорела, надо будет принести новую с другого этажа. Что вы предпочитаете — постоять так или сейчас вынуть, а потом вставить еще раз?

Я выбрал первое. Сестра побежала за лампочкой. Наступившая неловкая пауза взывала о реплике, и я ее подал:

— Ну что ж, даже в предположении, что на исследуемом участке, как и по всей стране, налицо советская власть, отсутствие электрификации явно задерживает постройку там коммунизма.

Вскоре сестра вернулась, перегоревшая лампочка была заменена новой, и осмотр продолжался. Кажется, ничего интересного он не показал. Ди-

агноз же в конце концов был выставлен, с перечислением всех болезней, названия которых образуются прибавлением к участкам желудочно-кишечного тракта суффикса «-ит»: гастрита, дуоденита, энтерита, колита... и т. д., кончая сфинктеритом.

Эту историю я неоднократно рассказывал, поощряемый Мельчуком — любителем как скатологии, так и антисоветчины. А когда в Штатах я поведал ее Омри Ронену, он немедленно вспомнил аналогичную, произошедшую с ним. Ему оперировали что-то в нижней части тела, и хирург-профессор тоже спросил, не будет ли он возражать против присутствия студентов.

— Нет, при условии, что это будут ваши студенты, а не мои.

Шибболет

Пораженный всеохватностью диагноза, я решил лечиться минеральными водами и стал ездить на соответствующие курорты. Особенно запомнилась первая поездка — в Железноводск.

Я жил в палате на четверых. Все трое моих соседей, работяги из глубинки, днем исправно соблюдали диету и ходили на процедуры, но вечером отправлялись в ресторан — «проверить лечение». Впрочем, как в этой санатории, сравнительно плебейском, так и в соседних, более элитарных, например, в «Имени XX съезда», имелось и некоторое количество интеллигентных людей,

быстро перезнакомившихся друг с другом и предпочитавших прогулки вокруг горы Железной и по другим живописным окрестностям. Особняком держался седеющий желтолицый человечек в зеленом тренировочном костюме, то и дело стремительно бежавший по асфальтированной дороге вокруг горы на дотоле никогда не виданных мной роликовых лыжах.

Из процедур особой интенсивностью отличались грязевые ванны. Проведя точно отмеренное время (полчаса?) под кучей тяжелой черной грязи, щедро вываленной вам на живот мускулистой нянечкой, а затем тщательно помывшись в душе, вы переходили к строго регламентированному отдыху. После душа предписывалось не вытираться полотенцем, а осторожно им «промокаться» — чтобы не сорвать результатов загадочного процесса. Завернувшись в полотенце, вы выходили в огромный соседний зал, где ложились на рядами стоявшие лавки и еще полчаса лежали без движения, проникаясь сознанием мощности принятой дозы грязетерапии.

Хотя после ванны я чувствовал себя бодро, я отдавался общей атмосфере прописанного ритуального изнеможения. Так же неукоснительно этот мертвый час соблюдался и всеми остальными, в том числе теми самыми мужиками, которым вечером предстояло, наплевав на курортные правила, напиться до положения риз. Они тихо лежали в своих полотенцах, хотя могли бы свободно встать и уйти — никто их не контролировал.

Однажды моим соседом по лавке оказался таинственный лыжник, и я имел возможность рассмотреть его поближе. У него было худое желтовато-смуглое лицо, большие глаза, выразительный нос, густые, слегка выющиеся волосы, но в целом какой-то тревожный, если не запуганный, вид. Мы долго лежали рядом молча, время от времени переворачиваясь с боку на бок, и вдруг мне показалось, что он что-то тихо проговорил. Я переспросил его, но он извинился, сказав, что просто нечаянно произнес вслух слово на одном иностранном языке. Внимательно поглядев мне в глаза, он отвернулся.

Меня разбирало любопытство, и я заговорил с ним — завел разговор о его оригинальных лыжах. Он охотно объяснил, что они прописаны ему в порядке лечения: быстрые движения ног и трение ляжек друг о друга активизируют кровообращение внизу живота, согревая внутренние органы и способствуя их регенерации.

К его иностранной реплике мы не возвращались, и над ее тайной я раздумывал еще долго. В конце концов я пришел к мнению, что это был необычайно осторожный еврей, который предположил во мне соплеменника и пустил конспиративный пробный шар. Тихо сказав что-то на идише (иврите?) и не получив отзыва на свой пароль, он ушел в глухую несознанку. В пользу этой гипотезы говорила его внешность и его высокий профессионализм в вопросах лечения. Как я не догадался сразу, — ума не приложу.

Молоко отдельно, мухи отдельно

Из давнего шестидесятилетнего прошлого всплывает облик А. В., математика, точнее, математического лингвиста, человека тихого, на вид не складного, но совершенно кристального (в частности, пострадавшего за подписанство). Говорил он раздумчиво, моргая подслеповатыми глазами, и речи его, как я теперь понимаю, были всегда нацелены на внесение порядка в окружающий хаос, — черта, естественная у математика, тем более, матлингвиста.

Вот он звонит домой, жене (несомненному источнику хаоса), справляется о здоровье детей.

— Непонятно, — доносится от телефона. — Если уже есть ангина, зачем еще грипп?

Я не знаю, его ли это острота или расхожая хохма, но в его устах она звучит органично.

А вот мы сидим рядом на всесоюзной конференции по машинному переводу. Доклад делает руководитель группы из Ереванского ВЦ. Доклад внушительный: отмечают успехи группы в области ламповых схем, в организации ячеек памяти, в работе с русским порядком слов, в чем-то еще. Про порядок слов я как-то услеживаю, но остальное выходит далеко за рамки моей компетенции, и я поворачиваюсь к А. В. с вопросом, понимает ли он.

— Я понимаю только то, — следует неторопливый ответ, — что в одном докладе не может быть и про лампы, и про ячейки, и про порядок слов.

Действительно, если уже есть ангина, зачем еще грипп?

А вот мы на дружеской вечеринке, пьем и закусываем. Я постепенно поправляюсь от своих желудочно-кишечных заболеваний, и мне еще не все можно. Вытащив из банки с надписью *Gemischte Obst* («Смешанные фрукты») нечто консервированное, я подозрительно его рассматриваю и, так и не разрешив своих сомнений, спрашиваю стоящего рядом А. В.:

— Как вы думаете, что это?

— С ходу не знаю, но надеюсь определить, если прочту, что написано на банке.

Я, усмехаясь, подаю ему банку, он, моргая, ее изучает и, наконец, произносит:

— С полной определенностью можно утверждать лишь, что это — смешанный фрукт.

... Славные были времена — отделение света от тьмы ожидалось с минуты на минуту, а пока что и самый хаос констатировался с должествовавшей обезоружить его корректностью.

Будем резать, будем бить

На один из международных кинофестивалей в Москву был привезен английский фильм «Кромвель» (1970). Он произвел на меня сильное впечатление — возможно, еще и благодаря тому, что по знакомству я попал на его демонстрацию в закрытом просмотрном зале для переводчиков и фестивального начальства.

Один из главных композиционных ходов фильма состоит в том, что в течение первого часа зритель приглашается сочувствовать прямодушному поборнику народных прав Кромвелю (его играет Ричард Хэррис) и желать поражения высокомерному Карлу I (Алек Гиннесс). Но когда дело доходит до пленения короля, суда над ним и в конце концов его казни, роли меняются: Карл предстает благородной жертвой, а Кромвель — беспощадным тираном. Гиннесс блестяще играл величие, особенно трогательное в падении.

(Эта конструкция напомнила мне аналогичный эффект в постановке «Троянской войны не будет» Жироуду во французском «Театре Старой Голубятни», приезжавшем в Москву в самом начале оттепели, году в 55-м. Там симпатии зрителей переходили от гуманного, но простоватого борца за мир Гектора к великолепному в своем цинизме провокатору войны Одиссею.)

Случилось так, что через несколько лет, зайдя по своим сомалийским делам на киностудию «Экспортфильм», я узнал, что там вот-вот начнется рабочий просмотр «Кромвеля», дублированного для советского проката. В практически пустом зале я сел непосредственно позади членов дубляжной группы и их гостей и мог слышать, что они говорили. Разговор быстро перешел на самую животрепещущую проблему советского киноискусства: пришлось ли что-нибудь вырезать?

— Да нет, почти ничего, — сказал кто-то из дубляжников. — В конце концов, большое дело, ан-

лийская история трехсотлетней давности. Но в одном месте мы, конечно, немного порезали. В сцене перед казнью. Ну, Алек Гиннесс там дает! Прямо, знаете, короля жалко!

— И англичане не протестовали?

— А-а, им это до лампочки. Они прокатные права продали, бабки получили и — делай что хочешь.

Поражала органичность сочетания в этих вальяжных киношниках безошибочного эстетического чутья к самому яркому моменту фильма с поистине большевистской жестокостью к казнимому противнику. Кромвель удовлетворился тем, что Карлу отрубили голову, но им этого было мало, и они лишили его предсмертного прощания с детьми (Кромвелем, как-никак, разрешенного).

Скорее всего, купюра эта не была продиктована необходимостью. Так, «Двадцать лет спустя» Дюма спокойно переиздавались массовыми тиражами, хотя казнь того же Карла I дается там с точки зрения пытающихся спасти его мушкетеров — верных слуг Людовика XIII и королевы. Впрочем, кино, конечно, самое важное из искусств.

Бритва Оккама

На рубеже 70-х годов театральная жизнь в Москве была ключом, и в элитные театры попасть можно было только по знакомству. На престижный спектакль Эфроса в Театре Ленинского комсомола с Ольгой Яковлевой в главной роли билет мне дос-

тала одна дама с положением, в свое время учившаяся в Консерватории у папы.

У него было много учеников и учениц, и однажды он сделал наблюдение, что некоторые из них, проведя долгие годы в отдалении от него, вдруг снова входят в его орбиту, начинают посещать его лекции и тем самым как бы возвращаются в былую студенческую атмосферу, причем случается это, как правило, после разводов или иных личных неурядиц. Как-то раз, выловив из папиного рассказа об одной такой бывшей ученице, вновь припавшей к целительным источникам мазелеведения, что она работает в Министерстве культуры, я перевел разговор в практическую плоскость — спросил, нельзя ли с ее помощью добыть дефицитные билеты в театр.

Папа обещал узнать и вскоре получил положительный ответ, после чего тем же порядком были испрошены и успешно заказаны билеты на конкретный спектакль (если не ошибаюсь, «Месяц в деревне») — с той небольшой поправкой, вполне естественной, но мною по наивности не предвиденной, что на второй билет Вера Николаевна высказала желание пойти сама. Делать было нечего (как говорится, *beggars can't be choosers*, «нищим выбирать не приходится»), да и двигала мной, прежде всего, чистая любовь к искусству. Кажется, это был первый и единственный случай *blind date* в моей жизни.

Никаких романтических последствий это культурное мероприятие не имело, но папа, конечно,

поинтересовался, как оно прошло и как мне понравилась его ученица. Я сказал, что спектакль был интересный, спасибо, что же касается Веры Николаевны, то... ничего особенного, только очень уж много врет.

— А о чем шла речь?

— О разном.

— Как же ты установил, что она врет? Ведь чтобы бросать такие обвинения, нужно иметь факты, доказательства.

— Да нет, просто сколько она говорит, столько правды вообще нет.

Техника отпускания

Что касается режиссуры Эфроса, то самое сильное впечатление на меня произвела его постановка пьесы Розова «В день свадьбы», которую я по памяти отнес бы на десяток лет раньше, к началу 60-х. Сюжет этой классически оттепельной пьесы состоял в том, что Надежда (!), дочка из влиятельной рабочей династии, освобождала беспризорного Мишку, некогда нашедшего приют в этой семье и давно сосватанного за Надежду, но теперь влюбленного в другую, от данного слова и тем самым — от гнета добровольно-принудительной благодарности. Помню то ощущение эстетического и политического катарсиса, которое я испытал в момент кульминационной реплики: «Отпускаю!...». В зале чуть ли не физически повеяло надеждой, что Хрущев и в его лице советская власть наконец нас «от-

пустят». (Ждать, правда, пришлось еще четверть века, но, в общем, не напрасно.)

Одновременно с Ленкомом та же пьеса была поставлена в «Современнике», и я то ли пошел туда для сравнения, то ли только собирался — не уверен; запомнился лишь эфросовский спектакль. Особенно врезалось в память одно режиссерское решение.

Ведущим актером Театра Ленинского комсомола еще до прихода туда Эфроса был Всеволод («Сева») Ларионов, записной красавец, игравший — на сцене и в кино — дежурные роли героев-комсомольцев. Фокус Эфроса заключался в том, что этому Севе, с его устойчивым амплу советского первого любовника, он отдал роль не Мишки, положительного героя пьесы, а, наоборот, отрицательного брата Надежды — циничного председателя завкома (партком трогать было нельзя). В то время с каждого плаката и газетного листа мозолил глаза «Моральный кодекс строителя коммунизма», призванный стать чем-то вроде советских десяти заповедей. Так вот, ударным аргументом ларионовского персонажа, всячески давившего на героя, были слова: «Не марай Кодекс, Мишка!».

Ход, примененный Эфросом, наверно, имеет терминологическое название в теории режиссуры, настолько он эффектен и в то же время укоренен в работе с имеющимися амплу. В сущности, режиссер поручил Ларионову его привычную роль — стандартного советского героя, только теперь, в соответствии с замыслом драматурга, она

предстала в новом свете. Для такого ее сценического развенчания как нельзя лучше пригодился готовый ореол, окружавший актерскую фигуру Ларионова. Та фальшь, с которой он играл своих комсомольцев, блестящим турдефорсом режиссера была поставлена на службу художественному изображению ее жизненного источника — реальной советской фальши*.

По слухам, Ларионов в жизни обладал скорее идеальными, нежели реальными чертами своего актерского имиджа. Он поддерживал Эфроса в конфликтах с театральными властями и жалел о его последующем вынужденном уходе из театра. Надо полагать, он был благодарен Эфросу за парадоксальное освобождение от тисков советского амплу — освобождение, тематически вторившее центральной идее пьесы, а стилистически предвосхитившее эстетику соц-арта.

Мимесис

В фильме Висконти «Смерть в Венеции», увиденном три десятка лет назад, меня восхитила игра исполнителя главной роли Дирка Богарда (Dirk

* Юра Цивьян подсказывает по e-mail'у, что это случай так наз. cross-casting, но согласен, что случай особый, ибо актер использован не просто наоборот, но и в каком-то смысле точно так же, как раньше (по нашей со Щегловым терминологии, это не простой контраст, а контраст с тождеством).

Bogarde). Особенно сильное впечатление произвел эпизод, где герой, с неохотой решив уехать, отправляется на вокзал, но в последний момент слуга докладывает ему о какой-то транспортной неувязке, и он с тайной радостью остается. В этом месте Богард построил мину, которую я тотчас осмыслил как «выражение лица школьника, узнавшего, что учитель заболел и урока не будет».

Придя домой, я открыл Томаса Манна (том 7-й советского десятилетия, 1960; пер. Н. Манн) и, как я потом неоднократно рассказывал студентам, прочел у него слово в слово фразу, внушенную мне с экрана! Это был поразительный семиотический эксперимент, поставленный самой жизнью. Получилось, что язык актерской — а значит, и вообще человеческой — мимики настолько развит, что способен без потерь транслировать на редкость определенную информацию. Разумеется, какая-то часть кодировки приходится на контекст: мы понимаем настроение героя, его нежелание уезжать и подспудные поиски предлога остаться, так что актеру достаточно сыграть, скажем, «облегчение» и «детскость», чтобы воображение зрителя принялось дорисовывать остальное. И все-таки, каким образом передаются «учитель», «школьник», «урок»?

Готовясь сейчас записать эту виньетку, я на всякий случай снова заглянул в текст — сначала в то же русское издание, а затем в английский перевод и в немецкий оригинал. Оказалось, что память мне изменила, услужливо подретушировав факты. В русском переводе говорится всего лишь, что

Ашенбах «прятал под личиной досадливых сожалений боязливое и радостное возбуждение *сбежавшего мальчугана*,» — в точном соответствии с оригиналом («... Erregung eines *entlaufenen Knaben*»). Впрочем, в следующем предложении оригинала мотивы «детства» и «побега домой» дополнительно акцентированы выбором идиом, которыми описывается удача, выпадающая герою под видом неудачи: Томас Манн употребляет слова *Sonntagskind*, «счастливчик, *букв.* воскресный ребенок», и *heimsuchen*, «настигать, *букв.* находить дома». Но еще интереснее, что в английском переводе появляется и «школьно-прогульный» элемент: «...concealing under the mask of resigned annoyance the anxiously exuberant excitement of a *truant schoolboy*»!

Что же касается «заболевшего учителя», то его, видимо, целиком вчитал я сам, хотя и не без подсказки. Состоит она в том, что самостоятельно «сбежавшему мальчугану» ни к чему «личина досадливых сожалений». В сюжете повести момент притворного огорчения мотивирован той «счастливой неудачей», той транспортной *force majeure*, которая извне подает Ашенбаху уважительный повод не покидать Венеции. Но в метафорическом микросюжете со «сбежавшим мальчиком/школьником» никакой мнимой неприятности нет. На ее роль и напрашивается вчитанная мной болезнь учителя.

Напрашивается уже в томасманновском тексте. На его основании — не исключено, что впрямую —

прописывается в сценарии (это в принципе можно проверить). Затем сознательно или бессознательно разыгрывается Богардом. И, наконец, прочитывается зрителем.

С Лотманом на дружеской ноге

В 1964 году состоялась первая Летняя школа по вторичным моделирующим системам в Тарту. Я был на нее приглашен, хотя не помню, сколь формально. Хорошо помню, как случайно встреченный на станции метро «Охотный ряд» (тогда «Прспект Маркса») В. А. Успенский сказал мне, что «сделал все, чтобы мы летом встретились в Тарту». Тем не менее, я по тем или иным причинам туда не поехал. Скорее всего, просто потому, что не придал этой возможности того эпохального значения, которое задним числом кажется столь очевидным. Это была серьезная ошибка — одна из многих подобных в моей жизни. Повидимому, сыграла свою роль врожденная, усугубленная советскими условиями и сознательно культивировавшаяся мной нелюбовь к модным causes, неумение и нежелание, в отличие от зощенковского тенора, «сыматься в центре». В первый раз я не поехал сам, а в дальнейшем — до 1974 года — меня и не звали.

В 1970 году в семиотической серии издательства «Искусство» вышла книга Лотмана «Структура художественного текста». Под впечатлением очевидной близости научных установок и в общем

духе оппозиционерского единства я стал искать путей преодоления трений. Возможность представилась (и была упущена) в ходе состоявшегося в том же году в Тбилиси Симпозиума по кибернетике, включавшего внушительную Секцию лингвистики и семиотики. Там мы со Щегловым впервые увидели Лотмана. О напряженности нашего отношения к нему, говорит следующая запись, сделанная мной по горячим следам:

«Личного знакомства не произошло и в этот раз, но зато мы слушали его доклад (совместный с Б. А. Успенским, но говорил Лотман) — что-то о семиотике культуры, в том смысле, что культура конституируется ее противопоставленностью некультуре. Лотман, хотя и заикается, блестящий лектор. Его слушали с большим интересом. Поскольку, однако, на Симпозиуме строго соблюдался регламент (кажется, 20 минут доклад), в какой-то момент поднялся председательствующий, В. Ю. Розенцвейг, и сказал:

— Юрий Михайлович, у вас осталась одна минута.

— В т-таком случае, я могу не п-продолжать.

— Ну зачем же. Сколько Вам нужно времени, чтобы кончить?

— Десять минут.

— Как, товарищи, дадим докладчику еще 10 минут?

Из зала донеслись голоса:

— Дадим!.. Дать 5 минут!.. Хватит — регламент!.. Дать 10 минут!..

Прямо над моим ухом кто-то заорал:

— Дать ему, сколько он хочет! Пусть говорит, сколько хочет!

Я повернулся и увидел, что кричит Юра Щеглов.

— Позволь, — зашептал я, — почему это «пусть говорит, сколько хочет»?

Возвращенный моим вопросом на землю, Юра озадаченно повторил его:

— Почему «пусть говорит, сколько хочет»? Не знаю. Это интересный вопрос. Надо подумать.

Лотману тем временем было предоставлено 10 минут, и доклад продолжался. Через некоторое время Юра нагнулся ко мне и, сияя улыбкой ученого, готового поделиться сделанным открытием, сказал:

— Почему «пусть говорит, сколько хочет»? Прекрасно. Могу сказать. Пусть говорит, *сколько* хочет потому, что то, *что* он говорит, — *не страшно*.

Следующий контакт с Лотманом состоялся во время поездки (году в 1971-м) группы семиотиков во главе с ним в киноархив Госфильмофонда в Белых Столбах. Путь на электричке, а потом и пешком — неблизкий, и времени для общения было более, чем достаточно. Из разговоров Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского и Б. Ф. Егорова между собой запомнились многочисленные упоминания об актуальной тогда официозной фигуре А. С. Бушмина (академика, директора Пушкинского Дома) и фраза Егорова, делившегося ближайшими планами работы своего Ученого совета:

— Значит, так. У нас, эт-самое, идут две диссертации. Ну, значит, так. Одну мы, эт-самое, режем...

Тем не менее, вновь испытав обаяние личности Лотмана, я заговорил с ним о его книге, на которую мы со Щегловым собирались написать рецензию в «Вопросы литературы» (она появилась в 1972-м году). Лотман подчеркнул, что такая публикация желательна только в том случае, если рецензия будет сугубо хвалебной. На занимавший меня вопрос о допустимости критики внутри семиотического сообщества, он ответил рассуждением, что молодые неокрепшие структуры нуждаются в защитной оболочке, и потому преждевременная свобода критики может оказаться вредной. В то же время он предложил нам подать статью в очередной том тартуских «Трудов по знаковым системам» и в дальнейшем опубликовать ее (1975 г.). В целом у меня сложилось впечатление, что он, как и я, был бы рад разумному компромиссу.

Впервые проведя тогда в обществе Лотмана целый день, я имел возможность побеседовать с ним на самые разные темы. Запомнилось его подчеркнуто отрицательное отношение к новейшей культуре и явное предпочтение ей XIX века. Возможно, так он тактично давал понять, в чем он видит причины наших с ним расхождений. Как при этой, так и при нескольких последующих частных встречах с Лотманом, чувствовалось, что несмотря на примирение, дистанция оставалась

непреодоленной. Насколько я понимаю, Лотман переваривал меня с трудом*.

Тем не менее, вскоре он пригласил меня в Тарту на очередной, Пятый, или, по новому счету, Первый Всесоюзный, Симпозиум по вторичным моделирующим системам (февраль 1974 г.). Лотман и Минц были подчеркнута гостеприимны, и даже предложили мне прочесть в одном из их курсов двухчасовую лекцию на любую тему по моему желанию. Студентов пришло много, в аудитории присутствовали сами Лотман, Минц и некоторые другие коллеги. Темой я избрал поэтический мир Пастернака, которым тогда много занимался, и подробно остановился на соотношении моего подхода с лотмановским.

В перерыве ко мне подошла Минц с встревоженным лицом и словами:

— Только что в Москве арестован Солженицын. Возможно, вы захотите учесть это во второй части лекции.

Однако ничего крамольного — кроме самого факта разговора об опальной памяти поэте — в моей лекции не было.

* В 2001 году при встрече в Париже, Миша Лотман заверил меня, что я сильно преувеличиваю степень отцовского неприятия. Что касается идеализации XIX века, то во время разговора с Ю. М. у меня вертелся на языке излюбленный вопрос, в каком именно местечке черты оседлости он хотел бы родиться...

Отношения с Лотманом и Тарту продолжали налаживаться, и в какой-то момент даже обсуждалась возможность защиты мной докторской диссертации под его эгидой. А когда я собрался в эмиграцию, он дал мне рекомендательное письмо, которого, впрочем, как и каких-либо иных документов из России, нигде предъявлять не потребовалось. Что потребовалось, так это, как я ни брыкался, выступать в качестве представителя Московско-Тартуской семиотической школы — со столь неотвратимой регулярностью, что я постепенно себя им почувствовал.

В чужом пиру

В старое советское время, если и удавалось посмотреть западный фильм, многое в нем оставалось задрапированным складками все того же железного занавеса. Было неясно — то, что показывают, это у них обыденный факт или художественный эффект? А ведь острапяющий контраст между практическим рядом и поэтическим — основа искусства.

Вот он (Бельмондо, «Нежный негодяй», 1966) звонит ей из Брюсселя по автомату — так, как будто он рядом, в Париже. Это что, суперловкость рук или каждый может? Вот его (не помню, кого, кажется, Филиппа Нуаре) будит горничная, принесшая завтрак в номер, и он тут же затаскивает ее в постель — это как, нормальная часть сервиса или донжуанский подвиг?

Незнакомое не всегда восхищало. Вот он (Гэри Купер) ухаживает за ней (Одри Хэпберн), приводит ее в свой огромный номер, а там уже ждет заказанный им небольшой ансамбль, и они танцуют и любезничают при этих посторонних («Любовь после полудня», 1957). Было не завидно, нарушался интим, но витала надежда, что такого не бывает, — кроме как в фантазиях киношников.

Одной из загадок был эпизод даже не в иностранном, а «нашем», но футурологическом и полужаппетном «Солярисе» Тарковского (1972). Невроятно долгий проезд по подземному участку автострады будущего завораживал, тем более что мучил вопрос о статусе туннеля. Что это — трюковая съемка, увеличенная мини-декорация, или где-то там подобные вещи действительно существуют? (Знающие люди подтверждали, что существуют и туннель — японский.)

Больше всего озадачивали, конечно, размеры личной собственности. Например, что грузовик, микроавтобус, даже самолет мог принадлежать частному лицу, а не только учреждению. Особенно волновал, конечно, домашний быт — категория все-таки знакомая.

В английском фильме «Чарли Бабблз» (с Альбертом Финни, 1968) все этажи и помещения в доме пресыщенного жизнью героя-писателя просматривались по внутренней телевизионной сети. Это играло организующую роль в иронической стилистике фильма, но оставалось неясным, действи-

тельно ли таков быт широких масс преуспевших литераторов.

Самое сильное впечатление осталось от лондонского дома героя (Джэка Николсона) в фильме Антониони «Профессия: репортер» (1975). Интерьер был на нескольких этажах, с лестницами, без перегородок или, во всяком случае, с большим количеством открытых стен, и на них были там и сям приколоты (прилеплены?) записки жены (к мужу? к любовнику? — на культурную неосведомленность накладывались языковой барьер и авторская некоммуникабельность). Учрежденческие масштабы помещения и способы связи, служившие декорациями хронической невстречи героев (он уезжал, она изменяла), — весь этот модернистский разброд на просторной частной территории одновременно удручал и захватывал. Хотелось то ли отвергнуть недоступную сюрреальность с порога, то ли пожить и умереть в ней.

... Пожить удалось, за умереть дело не станет. Пишу это в гостиной на нижнем этаже, с видом на внутреннюю лестницу без записок. В компьютере поет Вертинский: *Как хорошо проснуться одному/ В своем веселом холостяцком «флете»...* («Без женщин», 1940). Кстати, британский «флэт» — одноэтажный (< flat, «плоский»), а если он еще и холостяцкий, то тем более, какие записки?

«Стрелки авторитетов»

Как-то в начале 70-х годов мы со Щегловым очередной раз попытались подать статью в «Вопросы литературы».

Наше общение с журналом затруднялось двойным цензурным гнетом — официальным советским, ну, это понятно, и пристрастно-личным, исходившим от заведомо теории Серго Виссарионовича Ломинадзе. Симпатичный дядька, отсидевший к тому же срок в сталинских лагерях (вместе с отцом-коммунистом), Серго, к сожалению, питал невольную преданность теоретическим идеям возвышенно философского покроя. В его статьях часто встречалось слово *бытийственность*. Что такое бытийственность, я не знаю, но предполагаю, что что-то вроде онтологичности. Онтологичность же вещь, хотя и загадочная, но недавно получившая доступное народу рабочее определение. «Я, наконец, понял, — сказал мне М. Л. Гаспаров, — что значит онтологический. Онтологический значит: хо-ро-ший». Гениальная простота этого толкования подкреплялась по-детски старательной четкостью гаспаровского выговора — преодолевающей заикание артикуляцией по слогам.

Неясно различая свои роли редактора и мыслителя (что типично для редакторов вообще, а для редакторов-бытийственников в особенности), Серго придирался к нашим структуралистским сочинениям с гораздо большей страстью, чем то диктовалось законами империи зла и размером его

редакторской зарплаты. Но в этот раз он ограничился ретрансляцией цензурных установок.

Он потребовал снять большинство ссылок на Пастернака. Мы стали возражать, говоря, что Пастернак автор не запрещенный, то и дело фигурирующий в печати.

— Да, — ответил Серго, — и на это есть совершенно определенные правила. Вы можете цитировать Пастернака, когда вы пишете о Пастернаке, но не по любым другим вопросам. Для таких случаев имеются Маркс, Ленин, Горький и Белинский.

Наша тайная agenda, разумеется, состояла именно в ревизии официального пантеона — придании полуопальному имени Пастернака некоего общеобязательного статуса, но, как оказалось, этот эзоповский маневр был уже предусмотрен инструкциями. Подобно Пушкину, пересекшему заветный Арпачай, мы все еще находились в пределах необъятной России.

Этот эпизод вспомнился мне недавно на конференции по литературной теории в Йельском Университете (март 2002 г.). Там много говорилось о Бахтине — как по числу выступлений, так и по монологической продолжительности некоторых из них, далеко зашкаливавших за регламент. Один докладчик вообще никак не мог кончить, несмотря на настойчивые жесты и записки председателя. Наконец, он сказал: «Еще одно, последнее предложение», но и после этого говорил долго, наглядно демонстрируя бахтинскую незавершенность.

мость дискурса и пропасть, отделяющую предложение от высказывания.

В связи с моим докладом дискуссионка (Ирина Паперно) отметила, что я единственный открыто отказываю Бахтину в применимости. Я уточнил: Бахтин, на мой взгляд, нужен, когда речь идет о Бахтине, и — в умеренных дозах — когда речь идет о карнавале или Достоевском, но не в качестве авторитета по всем вопросам, в частности, поэзии. Любопытным образом, в докладе главной американской бахтинистки Кэрил Эмерсон упоминалась недавняя статья Серго Ломинадзе о неадекватности бахтинских анализов Достоевского, что позволило мне сослаться на историю с Пастернаком.

Так тридцать лет спустя мы с Серго оказались в одной компании — защитников многоголосия от тотального культа его некогда гонимого пророка, новых диссидентов, вдохновляющихся золотыми правилами советской цензуры.

«Эпикировка»

Работа с сомалийским языком в рамках истеблишмента — на Радио, на киностудии «Экспортфильм» и в других местах — приводила к знакомству с образчиками не только африканской, но и советской экзотики.

Весной меня как единственного дипломированного сомаловеда иногда приглашали в МИД — принять экзамен по языку у их сотрудника. Сотруд-

ником этим был унылый человек невзрачного вида с низким, как из бочки, голосом и безрадостной фамилией, назову его Бобылев. Экзамен требовался, чтобы подтвердить его право на двадцатипроцентную надбавку к зарплате за знание языка курируемой страны.

Язык он, несмотря на несколько лет работы в советском посольстве в Могадишо, знал из рук вон, и экзамен каждый раз сводился к тому, что я уточнял у него и у заведующего учебной частью генерала Абрамяна, какова самая низкая оценка, совместимая с надбавкой, и, неизменно получая ответ «три с минусом», неизменно ставил именно столько. Ашот Абрамович Абрамян, обладавший характерной для лиц его национальности широтой взглядов, понимающе улыбался. Неизбывной же грусти Бобылева тройка с минусом не усугубляла — никаких амбиций, кроме экономических, у него вроде бы не было.

Мотивы, толкнувшие этого человека на дипломатическое поприще, не составляли загадки, хотя на свежий взгляд могут показаться парадоксальными. Беднейшую страну самого забытого Богом континента Бобылев рассматривал как источник обогащения. Дело шло неплохо, пока он работал в посольстве, получая двойную зарплату, частично в валюте, и извлекая мелкие контрабандные выгоды из доступа к иностранным товарам. Но срок службы на передовой подошел к концу, и Бобылева перебросили в тыл, на Смоленскую площадь, где я однажды и застал его еще более удрученным, чем обычно.

Причиной моего прихода был на этот раз не экзамен, а перевод на сомали речей Председателя Верховного Совета СССР Подгорного, направлявшегося в республику на экваторе с государственным визитом. Речи поступали с задержкой, я маялся, ворчал, и Бобылеву было поручено всячески занимать меня и водить в закрытый буфет. Там, за номенклатурной икрой и импортным пивом, Бобылев излил душу.

— Думаю податься на научную работу, вот, как вы, — с безысходной печалью в голосе сказал он.

Я полюбопытствовал, чем диктуется внезапная переквалификация. Оказалось, что дело в потере выгод, связанных с пребыванием «в стране».

— Но, наверно, на большой земле это как-то компенсируется? — предположил я.

Оказалось, что компенсируется, но в случае Сомали очень и очень скромно.

— За что же такая дискриминация?

— Да не дискриминация, — горестно пояснил Бобылев, — а просто оплачивают из расчета эпикировки...

— Эпикировки?..

— Ну да. Если ты работал, скажем, в Норвегии, то здесь тебе выдают в размере меховой шубы, шапки, ну и прочего. А у нас какая эпикировка — пробковый шлем и шорты?..

Низкий жизненный уровень сомалийцев настиг-таки невезучего Бобылева, хотя и с неожиданной стороны. Не задалась, надо полагать, и его научная карьера, для которой он тоже был, на мой

взгляд, оснащен недостаточно. Бедному жениться — ночь коротка.

Р. С. Как бы не так. По последним сведениям, Бобылев перешел свой Рубикон — написал и защитил диссертацию, а со временем получил консульскую должность в Италии. Эпикировка: тога с пурпурной каймой, кресло из слоновой кости, двенадцать ликторов с фасциями.

Бабушка-старушка

Это из Зошенко. Так в пьесе «Парусиновый портфель» обращаются к пожилой даме, вспоминающей по ходу основного действия о своем адюльтерном прошлом: «Ну! Что же было дальше? Ну, бабушка-старушка, ну..»

Старушке, о которой пойдет речь, бабушке моего младшего коллеги Ц., в описываемый момент было не многим больше лет, чем мне сейчас. Стояло жаркое лето 1972 года. Я был в гостях на даче под Ригой, у совсем юного Ц. Приехал я с Л., в которую был бешено влюблен, возможно, ввиду сильнейшей активности солнца (горели торфяники). Нас радушно принимали очень милые и светские родители Ц. Из кухни на веранду иногда выглядывала бабушка, представительная полуседая дама. С молчаливым достоинством занимаясь угощением, она периодически прислушивалась к разговору.

Моложавый отец Ц., известный писатель, оказался знаком с моим не менее знаменитым и еще

более молодым бывшим научным руководителем К. Поскольку Ц. собирался в аспирантуру в Москву, отец был озабочен приисканием ему связей, друзей и покровителей. Я поддерживал разговор о К. несколько принужденно, ибо находился с ним в это время в сложных отношениях, чего не хотел ни афишировать, ни скрывать. Я неопределенно поддакивал, прятал глаза, краснел. Л., совершенно уже молодая девица, не принадлежавшая к академическим кругам, скучала.

Хозяева, однако, ничего не замечали, и разговор продолжал вертеться вокруг К. — его эрудиции, работ, диссидентской славы, личного обаяния. Неожиданно раздался голос бабушки:

— Вы все в восторге от этого К., потому что он такой важный. А я не вижу в нем ничего особенного. Скучный, бледный, писклявый. Если бы он был водопроводчиком, вы бы на него и не посмотрели. А вот если бы Алик пришел в качестве водопроводчика, я бы все равно обратила на него внимание. И я уверена, что Л-очка тоже.

Так я внезапно одержал одну из столь дорогих нам эдиповских побед и унес в душе вечную благодарность замечательной бабушке-старушке.

Полтора десятка лет спустя, в свой первый краткий приезд в Москву из Штатов (1988 г.), справляясь о Ц. и его семье у общего знакомого, самую неожиданную — а, впрочем, как водится в крепком сюжете, исподволь хорошо подготовленную — новость я услышал о бабушке. На старости лет у нее возник роман с заезжим офицером (ка-

жется, казахом) и, вопреки возражениям родных, она чуть не согласилась на умыкание. Я сразу вспомнил, что элементы жадного глядения на дорогу были у нее и знойным летом нашего знакомства. Увоз, однако, не состоялся — восьмидесятилетнюю бабушку не устраивало, что «он этими гадостями хочет заниматься».

И на старуху бывает проруха.

Не зря

Работая над книгой о модели «Смысл-Текст» (1974), Мельчук, как всегда, требовал от коллег критических замечаний. При чтении очередного варианта рукописи я заметил, что, несмотря на мои предыдущие протесты, пассаж о толковании близких по смыслу слов *мыть* и *стирать* опять остался без изменений. Различие между ними Мельчук связывал с тем, присутствует ли в описываемом процессе элемент «трение складок объекта друг о друга». Соответственно, смысл *стирки* (кстати, этимологически восходящей к *тереть*) он формулировал так: «Х при помощи жидкости чистит объект?, тря...».

Сколько я ни морщился по поводу сомнительной деэпричастной формы, неисправимый Игорь отвечал ссылкой на металингвистическую, а не собственно русскую, природу языка описания. Тогда я решил апеллировать к тому регистру его личности, который принес ему прозвание доктора *hominis causa*. На полях против «тря» я сделал

пометку: «Нельзя писать о русском языке, не прерывно сря на него». Подействовало. (См. с. 46 книги.)

Дворянское гнездо

Таня точно знала, как надо. Летом надо было жить на даче. Но дачу снимают весной, и первое лето пришлось пропустить, хотя свадьбу отпраздновали все-таки на даче — у подруги.

Временным суррогатом дачи стали поездки на озеро Валдай, где у меня оставалась лодка с парусом. Правда, Таня воды не любила, но из чувства супружеского долга ездила. Падучева сетовала на простои в работе, Таня отвечала: «Елена Викторовна, не могу. Я *должна* кататься на яхте».

На следующий (1974-й) год дачу стали снимать. Таня каким-то образом установила, что снимать надо в Купавне, где озеро чистое (моторки запрещены), а поселок вдоль него — генеральский, почти закрытый.

«Почти», потому что прямого запрета или оград не было, но, как мы быстро убедились, приехав на разведку прозрачным апрельским воскресеньем, не было и желающих сдавать. Вообще, сезон еще не начинался, и мы, щелкая зубами, ходили вокруг запертых участков.

Один генерал все-таки раскололся. Сам он сдавать не стал, но по секрету дал наводку на вдову-генеральшу, Зинаиду Владимировну К-ову,

дачников пускавшую. Связав нас страшной клятвой, он сообщил ее московский телефон и предупредил, что потребуются солидные рекомендации.

Это было первое брачное испытание, и его я, в отличие от большинства последующих, выдержал. Я позвонил Зинаиде Владимировне, представился, похвалил ее поместье, сказал, что мы, к сожалению, незнакомы, но пусть она назначит, от кого нужны рекомендации, и я их доставлю. Приезжайте в воскресенье, сказала она, у меня для вас есть павильон.

Генеральша оказалась крепкой, энергичной женщиной со следами былой красоты. Я назвал. Она произнесла с выражением:

— Какое у вас красивое имя, Александр Константинович!

Вслушиваясь в интонацию, я заподозрил, а узнав Зинаиду Владимировну поближе, убедился, что под красотой понималась излучаемая моим именем отчеством аура расовой чистоты, в натуре не наблюдавшейся. Тем не менее, мы поладили.

Участок был огромный. В центре стоял двухэтажный господский дом — трофей, вывезенный генералом из побежденной Германии. Он не сдавался — в нем жила генеральша со взрослой дочерью Наташей и иногда наезжавшим сыном с семьей. Но по участку были разбросаны сарайчики, вагончики, времяночки, населенные разношерстным людом, вряд ли поступившим

по рекомендациям Генштаба. Отведенным нам павильоном оказалась осевшая изба, в которой хозяева жили когда-то сами, пока крепостные солдаты по камешку по кирпичику воспроизводили немецкое чудо.

Одна жиличка, совсем простонародная старушка, ютилась в фургончике без окон. Ее фольклорность сыграла свою магическую роль, когда нас стали донимать крысы. Ничто не помогало. Старушка сказала, «Вы бузины наломайте, оне ее не любят». Бузина росла тут же, за забором. Мы ее, недоверчиво посмеиваясь, наломали и набросали. Крысы исчезли.

В том же дальнем углу, что фольклорная бабушка, помещение, более похожее на жильё, снимали таксист Толян с хамского вида женой — зав. винным отделом гастронома. Располагая в семье контрольным пакетом акций, жена держала Толяна, робкого пьянчужку с льяными волосами, в постоянном страхе изгнания. Ее симпатичный четырнадцатилетний сынишка стал, к облегчению Тани, моим партнером по яхте.

Я наслаждался катаньем, купаньем, дачей, лесом, хотя до станции было далеко и продукты мы по-туристски таскали из Москвы на спине. Кто страдал от дачной жизни, так это безапелляционно приговоренная к ней Танина мама. Ксения Владимировна недоумевала, почему вместо благоустроенной городской квартиры она должна зябнуть на сырой даче, но с ангельской кротостью отбывала назначенные сроки. По иронии судьбы, она, буду-

чи действительно дворянского происхождения, оказалась в двойной вассальной зависимости — от Тани, унаследовавшей командные гены отца-полковника, и от генеральши.

Иногда приезжал мой папа — потряхнуть старинной и сходить «в далекую». Эта формула помнилась с детства, когда папа, повязав на голову носовой платок с четырьмя узелками по углам, отправлялся за десятки километров к другой ветке железной дороги, слал оттуда маме телеграмму и поспевал к ее сюрпризному вручению.

Выставив небольшой столик в сад, я занимался полузапретным Пастернаком, наслаждаясь соответствием антуража его дачной поэтике. Наш дом был ближе всех к озеру, стол стоял у самой дорожки, и Толян, проходя мимо, звал меня купаться. Я отвечал, что работаю, и он с неизменным недоумением повторял: «Чё ты все пишешь?!.. Писатель!!..». (Как в воду глядел.)

Зинаида Владимировна вставала с рассветом и весь день, не покладая рук, поливала, удобряла, подрезала, окапывала, опрыскивала, пропальывала и пересаживала в изобилии росшие на участке цветы, ягоды, овощи и фрукты. Одновременно она распорядилась наемными рабочими из деревни, которые что-то для нее чинили, красили, копали и заливали бетоном, а к концу дня хрестоматийно толпились у заднего крыльца в ожидании оплаты.

Рабочими она была недовольна — они явно уступали немецким стандартам.

— Моя бы воля, я б их на конюшне секла, — говорила она. Я кивал с чувством тайной диссидентской солидарности.

Деревенскую публику Зинаида Владимировна вообще не жаловала.

— Вот у кого теперь деньги, — говорила она, мотая головой в сторону шумно колесивших вокруг участка пьяных мотоциклистов.

В ее «теперь» слышалось сожаление об уходящих в прошлое временах подлинного аристократизма.

— Какая у вас замечательная усадьба! — как-то сказал я, отчасти в дипломатических целях, но не кривя душой, и был вознагражден незабываемой репликой:

— Сталин добрый был, много давал...

Покататься на яхте приезжали друзья. Однажды была американская аспирантка Джоханна Николз (ныне знаменитая лингвистка). Из валютного магазина она привезла невиданный продукт — пиво в банках. Потягивая его под деревом, она употребила изысканную английскую конструкцию «Am I decadent!» («Ну, я и разлагаюсь!»), которую мы тут же освоили.

Яхточка ее не впечатлила — ее бывший свекор был бизнесменом как раз по этой части.

— He owns marinas... («Он владеет маринами»).

— Marinas? Что такое «марина»?

— Пристань с прокатными лодками, яхтами и тому подобным.

— So he owns it? («И он ей владеет?»)

— Them. («Ими».)

Как реалии, так и грамматика (pluralis) звучали недостижимо. Впрочем, свекор, вместе с мужем и маринами, был все-таки бывший.

... В один из первых приездов после перестройки, летом 1991 года, я совершил ностальгическое паломничество в Купавну. Я ожидал увидеть процветающий, может быть, чрезмерно коммерциализованный, курорт и был поражен зрелищем запустения. Кругом были непроходимые буераки, валялись блоки распавшейся бетонной ограды, кафе на берегу было заколочено, озеро зацвело, по нему не катались и в нем не купались. Даже погода соответствовала — несмотря на июль, было холодно.

С трудом пробравшись к даче, я привычным движением открыл внутреннюю щеколду калитки, вошел и осторожно, с извиняющейся оглядкой, направился к главному дому. Он, однако, был необитаем — завешен пластиком, как при ремонте. Меня окликнула пожилая женщина, в которой я узнал Наташу. Я сказал, что когда-то снимал здесь дачу, спросил Зинаиду Владимировну. Наташа улыбнулась и повела меня к стоявшему около «павильона» столу с лавками, за которым сидела, как Меншиков в Березове, закутанная в темное тряпье генеральша.

Мы поздоровались. Мне были рады. Наташа сказала:

— А я смотрю, кто-то иностранной походкой идет по участку...

Беззубо шамкая, Зинаида Владимировна стала жаловаться на разруху («Теперь, знаете, у кого деньги?»), расспрашивать, радостно завидуя, про наше заморское благополучие (я стусевался, сказав, что по-настоящему богата Таня, у которой бизнес и дом в Итаке, квартира в Монреале, дом и земля под Монреалем) и допытываться у меня, иностранца, «что же теперь с нами будет».

Господский дом ремонтировался, значит, было на что, но пока они жили в той же избушке, что когда-то, — у разбитого корыта. Аристократическая парадигма, разыгранная генеральшей, оказалась себя с неукоснительной полнотой, явив наглядную картину разорения мелкопоместного дворянства.

Интересно, как теперь? У кого деньги?

Из России с любовью

Это было в начале 70-х годов, в эпоху застоя, в период его расцвета. Мой ученик (назову его кафкианским инициалом К.), вдвоем с которым мы практически контролировали рынок переводов на язык сомали, сообщил мне, что наклеивается новый источник халтуры: Агенство Печати Новости открывает серию переводов классиков марксизма-ленинизма на ранее не охваченные восточные языки. Заведует этим делом некто Козлов, бывший резидент в Китае.

Я ответил, что идея хорошая, лишние деньги не помешают, но времени на дополнитель-

ную халтуру у меня нет. К. меня успокоил. От меня требовалось только сходить к Козлову, напустив важности, выговорить оптимальные условия и, по занятости, поручить переводческую роль К., так и быть, согласившись на редакторскую.

Козлов оказался невзрачным (подслеповатым? рыжеватым? лысоватым?) человеком, на которого с первого же взгляда естественно было свалить китайские промахи Кремля. Я взял уверенный тон. Одобрив планы приобщения сомалийцев к трудам Ленина и заверив Козлова в высоте квалификации К., я перешел к центральной теме — ставке за лист.

Козлов проявил знакомство с вопросом и выразил готовность платить двадцатипятипроцентную надбавку «за редкость» — категорию, под которую подходили все восточные, в том числе африканские, языки. Я, однако, метил выше.

Я указал на особый статус языка сомали, лишь недавно обретшего письменность. Ставя задачу перевода на него сочинений Ленина, следовало учитывать, что само слово «перевод» получает в этом случае качественно иной смысл. Если при работе с китайским, японским, хинди и т. п. дело сводится к переводу на языки, давно абсорбировавшие марксизм, то на сомали предстоит начинать с нуля. Речь идет не о переводе в готовые языковые формы, а о создании всей необходимой фразеологии. На переводчика — К. — ложится гигантская историческая ответственность: от него

зависит, как на сомали будет впредь звучать голос Ленина.

Эту импровизацию в стиле О. Бендера я заключил требованием удвоить надбавку. Козлов выслушал меня с пониманием, но сослался на отсутствие соответствующих разрядок. Так что, 25% — si, 50% — no, хотите берите, хотите нет. Мое красноречие разбилось о стену. Программа-максимум не сработала. Можно было, конечно, гордо удалиться, но мы утерлись и согласились на минимум.

... Передо мной лежат три красных книжечки на сомали, две ленинских и одна брежневская. Никаких других фамилий там не значится — ни Козлова, ни К., ни тем более моей. Не помню и, получил ли я что-либо за «редактуру». Боюсь, что да. Сохранилось вложенное в Брежнева уклончивое письмо на бланке АПН от 6 февраля 1974 г.:

тов. Жолковскому А. К.

Направляем Вам, как переводчику на язык сомали, брошюру Л. И. Брежнева «Наш курс — мир и социализм», выпущенную Издательством АПН.

П. Козлов,
Заведующий Редакцией изданий
на восточных яз.

Козлова я больше не видел, но свою оценку его агентурных качеств пересмотрел. Не исключаю даже, что развернув мои аргументы перед началь-

ством, он добился-таки изменений в разрядах, а разницу, как теперь выражаются, приватизировал.

Встречи с интересными людьми

В середине 70-х годов, уже на полуопальном положении, служа в «Информэлектро» и почти все рабочее время посвящая статьям по структурной поэтике, которые затем печатались на Западе, я получил приглашение выступить со своими идеями перед интеллигентной аудиторией города-спутника биологов Пущино. Устроила это имевшая там множество знакомых наша сотрудница Леля В. — под флагом модной в те времена формы неофициальной культурной жизни: встреч с интересными людьми. В Пущино располагался Институт белка АН СССР, и по инициативе его замдиректора, профессора, скажем так, Петухова, при пущинском Доме ученых было создано интеллектуальное кафе «Желток». Петухов охотно клянул на Лелину идею, а меня она без труда соблазнила перспективой мгновенной славы и вдобавок лыжного катания по приокским холмам и долам.

Учитывая словесную магию места (*белок — желток — Петухов* — ...), в Пущино, наверно, следовало бы говорить о Пушкине. Но я избрал Пастернака и Ахматову. На примере ахматовского стихотворения 1936 года «Борис Пастернак» («Он, сам себя сравнивший с конским глазом...»), в то время печатавшегося под стыдливым названием «Поэт», я

решил развить занимавшую меня тему взаимодействия поэтических миров. Прибыв на место, я увидел цветную афишу, гласившую:

ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

канд. филол. наук

А. К. Жолковский

АХМАТОВА О ПАСТЕРНАКЕ

Кафе «Желток»

19 часов

Стилистика кафе была позаимствована из телевизионного «Голубого огонька» — так называемая непринужденная атмосфера, столики с пластмассовым покрытием, чашечки с черным кофе. Но массовость аудитории превзошла самые смелые ожидания: в зале было несколько сот человек. Наверно, в тот вечер пущинцам было больше некуда пойти, и они сбежались, как солдаты на привезенную в часть кинокартину.

Это был один из редких в моей жизни случаев массового успеха, а по продолжительности выступления — бесспорный личный рекорд. Сначала я говорил часа полтора, потом сделали перерыв, во время которого желающие, примерно половина, ушли; потом выступление и дискуссия продолжались еще часа два; после второго перерыва осталось человек двадцать, но в полночь кафе закрывалось, и тогда совсем уже узкий кружок собрался у кого-то на квартире. Наряду со щекочущими диссидентское сознание именами двух поэтов, роль,

возможно, сыграл и присвоенный мне титул интересного человека.

Острых моментов в ходе доклада было два, оба в первом отделении. Сначала кто-то из слушателей, раздраженный жесткостью моих структуралистских построений, спросил, как можно говорить о формулах и инвариантах, когда все поэтическое, духовное, да и вообще человеческое, так непредсказуемо и неповторимо.

— Что за такая неповторимость? — парировал я. — Вот, например, ваш вопрос, как правило, задается кем-нибудь именно в этом месте доклада. Так что вы как раз вполне повторимы.

По аудитории пробежал одобрителный смех. Все-таки это были исследователи не чего-нибудь, а белка, к моделированию живого более или менее морально готовые.

Второй провокационный вопрос, поступивший от самого Петухова, касался трактовки формальных эффектов (звуковых, грамматических и т. п.) как средств воплощения смысла. Помимо вполне естественного незнакомства с достижениями тартуской семиотики, Петухов проявил неожиданное упорство в отстаивании своих литературно-теоретических воззрений. Спор затягивался, нарушая правильный ритм доклада и четкую расстановку сил, и я закончил его решительным выпадом:

— Я вижу, мне не удастся убедить уважаемого оппонента. Разумеется, каждый имеет право на свое мнение. Я только не хотел бы, чтобы у аудитории сложилось впечатление, будто имеет мес-

то спор между кандидатом наук Жолковским и доктором наук Петуховым. В действительности спор идет между кандидатом филологических наук Жолковским и, что касается литературы, выпускником советской средней школы Петуховым.

В зале послышался и захлебнулся возмущенный ропот. Спор прекратился, и я продолжал доклад; в перерыве Петухов и его супруга, корректно попрощавшись, ушли. После этого и до самого конца — до двух часов утра, когда я в изнеможении пошел спать, — никаких драматических эксцессов уже не было.

Из обитателей городка мне особенно запомнился один молодой сотрудник. Он был невысокого роста, красивый, с гладкой кожей. На другой день после доклада я был приглашен к нему на ланч, и меня поразила его кухня, сверкавшая чистотой и обилием кухонных принадлежностей — кофеварок, красиво расписанных досок для нарезания овощей и т. п. Он деловито и элегантно угостил нас, потом аккуратно убрал со стола, помыл и поставил сушиться посуду.

Он жил один, но вскоре ожидался приход его подруги. Я спросил, не ей ли его хозяйство обязательно таким завидным порядком. Оказалось, нет — хозяйничать его научила мама, объяснившая, что это вернейший способ против непродуманной женитьбы, диктующейся соображениями уюта. Больше вопросов у меня не было, спорить тоже не приходилось — ответ оставалось запомнить и принять к сведению.

Так моя поездка в городок биологов закончилась встречей с действительно интересным человеком, несомненным специалистом по науке о жизни — способе существования белковых тел.

Работа не волк

Домашние и школьные строгости, еврейский комплекс вины и пример уважаемых коллег приучили меня к трудовой дисциплине. Получился даже некоторый сальеристский перекокс, требовавший моцартианских поправок.

Давным-давно, разговорившись с коллегой, муж которой, А., был лингвистической звездой первой величины, я между прочим спросил, над чем он работает. Оказалось, что он недавно кончил статью и теперь отдыхает — живет на даче, играет в футбол, выпивает с друзьями и ничего такого научного не делает. Этот ответ произвел на меня, юного дебютанта, сильное впечатление. Выходило, что можно быть настоящим ученым, автором не только оригинальных, но и тщательно проработанных исследований (А. славился полным исчерпанием материала — принципиальным отказом от каких-либо «и т. д.»), и отнюдь не каждую минуту посвящать работе. И это на фоне того структурного бума, когда в лингвистику валом валили технари, и один из них (Г. П. М.) на вопрос, куда он едет в отпуск, отвечал, что у лингвиста не бывает отпуска, так что они с женой едут в диалектологическую экспедицию.

В дальнейшем я многие годы порознь соавторствовал с двумя коллегами — И. и Ю. Я восхищался обоими и старался подражать им, но в разном. И. являл образец мощного планомерного напора; это было понятно, и приходилось не отставать. Ю. был причудлив. Его очевидный талант, эрудиция и ранние успехи делали тем более загадочными его методы работы. Продолжительное совместное сидение над рукописью его тяготило. Отчасти, конечно, ввиду ненавистной ему совместности, но не только. Однажды он поделился со мной своими рабочими навыками.

— Если я позанимался некоторое время и что-то написал, значит, дело идет хорошо и можно предаться заслуженному отдыху, погулять, съесть что-нибудь вкусное. Если же я сижу и ничего не получается, то нет смысла упорствовать: надо сделать перерыв, перекусить, пойти проветриться...

Меня это поразило, и я стал сознательно прививать себе такую гигиену труда. Особенно удавалась она с И.: на себя я брал амплуа по-детски беззаботного творца, зная, что И. охотно потянет ту лямку ответственности, которая с Ю. приходилась на мою долю.

Как-то раз, в ответ на мой очередной призыв форсировать работу, Ю. запротестовал:

— Нет, Алик, извини, но это невозможно. Ты чего-то недопонимаешь. Ты, повидимому, забываешь, что я, как бы это сказать, я... все-таки... русский.

Я постарался больше не забывать. Впрочем, русские бывают разные. А бывают и евреи, подобные Ю. Так, где-то у Гейне есть забавный пассаж о том, как он работает. Приблизительно такой:

«После завтрака я сел за письменный стол, чтобы отделать стихотворение, написанное накануне. В целом я остался им доволен, но решил, что в одном месте не хватает запятой. Поставив запятую, я с чистой совестью отправился на прогулку, а затем плотно пообедал. Вечером я перечитал текст и пришел к выводу, что запятая там ни к чему. Я убрал ее и с чувством хорошо поработавшего человека лег спать».

Любопытно было бы, конечно, узнать, как он работал накануне, но об этом пустяке Гейне умалчивает...

Когда я стал собираться в эмиграцию, И. звонил из Канады, убеждал и торопил, я же тревожился, выдержу ли капиталистическую конкуренцию, ее агрессивный нахрап, — помнится, я употребил слово *drive*.

— Какой, к черту, *drive*? — ответил И. — Сонное царство...

Разумеется, канадцы — не американцы, да и американцы бывают разные, но в английском языке недаром есть поговорка: *All work and no play makes Jack a dull boy* (букв. «Одна работа без раз-

влечений делает Джека скучным парнем»). Это, конечно, не то же самое, что «Работа не Алитет, в горы не уйдет»; дело делается, но в основном от 9-ти до 5-ти. Собственно, в этом вся идея. Нет авралов, сдаванки, трудового героизма.

И действительно, зачем из работы делать волка? К тому же, с годами рабочий энтузиазм спадает. Сказывается и торжество постмодерна, деконструировавшего железную хватку структурализма.

... Пишу это в первых числах января, перед началом семестра, к которому не готов и готовиться неохота.

Гранты и эмигранты

Когда в 70-е годы наша с Мельчуком теория лексических функций стала пользоваться вниманием иностранных коллег, он очень радовался, рассчитывая на ее скорое всемирное торжество. Помню, как он призывал L., проводившего в Москве саббатикал, привлечь к параллельной работе на английском материале корнелльских студентов. L. сказал, что идея хорошая, и по приезду в Штаты он даст на соответствующий грант.

— Какой еще «грант»? — удивился Игорь. (Этого слова в русском языке тогда не было.) — Ведь тебе нравится наша теория? Так преподай ее студентам, и они тоже заинтересуются.

— Да, и если я получу грант, я смогу пригласить их заняться этим.

— Но ведь лексические функции так увлекательны, что студенты сами захотят с ними работать! Поделят между собой словарь и приступят к делу!

— Конечно, — если грант позволит организовать этот проект..

— Вот заладил про какой-то грант! Алик, ты понимаешь, что он говорит?

Я уже некоторое время догадывался, что мне предстоит в очередной раз сыграть роль переводчика-медиатора между Игорем и институтами культуры, в данном случае буржуазной, и к ответу подготовился.

— Понимаю, и ты тоже поймешь, если учтешь, что наш друг L. — американец, действующий в рамках американской системы, где ничто не делается бесплатно, почему и нужен грант. Подумай, даже величайшему из американцев, Линкольну, для того чтобы осуществить дело своей жизни, потребовался Грант. Это полезно иметь в виду всякому, собирающемуся переселиться в Америку...

Прошло несколько лет, я уже работал в Корнелле, но несмотря на достигнутое еще в России теоретическое владение идеей гранта, сам на гранты не подавал и вчуже завидовал американским коллегам — мастерам их получения, гордившимся своим искусством grant writing. Мне, все еще учившемуся прилично писать по-английски, было до них далеко. Как-то одного из них, J., сравнительно молодого, но уже знаменитого литературоведа, выпускавшего в год по книжке, я спросил, душа зависть комплиментом:

— Ну, ты уже знаешь, какую книгу ты напишешь в следующем году?

— Нет, — ответил J., — этот год я намерен лежать под паром (lie fallow).

Слово fallow, достаточно экзотическое в научном контексте, задело мое настроенное на каламбуры воображение, затаенная зависть прорвала тонкую корку словесной цензуры, и я выпалил:

— A fallowship ты под это дело уже получил? (Fellowship — «стипендия».)

Сам я впервые собрался подать на гранты лишь десяток лет спустя, но даже получив их и прожив на них, не преподавая, целый год (1990/91), остался при убеждении, что проще непосредственно писать свои работы, нежели приниматься за грантопись. В этом я оказался не меньшим консерватором, чем во многом другом, не меньшим славянофилом, чем Мельчук 70-х годов (с тех пор он уже давно канадец и весь в грантах), и заведомо большим простаком, чем сегодняшние русские, — по однажды слышанному мной определению, «дети капитана Гранта».

Nowy Świat

Когда я начинал заниматься языком сомали (1963 г.), он был еще бесписьменным, и материалов на и о нем было немного. Скучную эту литературу я читал в Ленинке, а кое-что мне доставляли курсировавшие между Москвой, Могадишо и Лондоном сомалийские студенты и сомалийцы-дикто-

ры Московского радио, где я работал на полставки. По-русски не было совсем ничего, а среди выходявшего на Западе выделялись работы Богумила Анджеевского (Andrzejewski), профессора Факультета востоковедения и африканистики (School of Oriental and African Studies) Лондонского университета.

Как я постепенно узнавал, Анджеевский, поляк, в начале войны интернированный в СССР (кажется, в Узбекистане, ср. ташкентские стихи Ахматовой к Чапскому), присоединившийся к армии генерала Андерса и сражавшийся, но не погибший, под Монтекассино, после войны не вернулся в советизированную Польшу и обосновался в Англии. Оказалось, что помимо профессорствования в университете он сотрудничает на Би-Би-Си в качестве внештатного консультанта сомалийской редакции. Об этом мне поведали мои друзья-информанты с радио, которые, бывая в Лондоне, подрабатывали на Би-Би-Си и были с ним знакомы. Рассказывали они и ему обо мне — молодом советском энтузиасте сомаловедения. Я тщательно изучал его работы, но в переписку с ним не вступал, твердо постановив, что обращусь к нему не иначе, как послав собственный научный опус.

Этот час пробил наконец в 1966 году, когда в сборнике «Языки Африки» появилась моя статья «Последовательности предглагольных частиц в языке сомали». Я немедленно отправил ее Анджеевскому, сопроводив почтительным письмом, в

котором выражал надежду, что даже если о русском языке у него не лучшие воспоминания, то как-нибудь, между польским и сомали, он разберется в моем тексте, а главное, в венчавшей его таблице.

Результат превзошел ожидания. Меня не только прочли на сомаловедческом небе и не только одобрили в целом. На бланке с загадочной шапкой Senior Common Room мне написали, что графа 11-я моей таблицы представляет собой ценное добавление к тому, что мы (!) до сих пор знали о языке сомали. После этого между мной и Анджеевским установилась переписка; он стал присылать мне свои работы, а когда я защитил диссертацию по сомалийскому синтаксису и выпустил книгу, я послал ее ему.

Все это происходило заочно, через более или менее железный занавес — вплоть до 1976 г., когда я в последний раз приехал в Польшу и, по наводке общего знакомого, польского арабиста и африканиста Анджея Заборского, разыскал Анджеевского в Варшаве, где он был гостем университета.

Анджеевский оказался сидящим красавцем-джентльменом с усами. Он повел меня на ланч в дорогое кафе «Новый Свет» на одноименной улице — одной из главных, ведущей в Старе Място. Говорили о разном, в частности, о созревавшем у меня намерении эмигрировать. Я бредил Западом, он предупреждал меня о трудностях с работой. Он похвалил мою книгу о синтаксисе сомали, обнаружив хорошее с ней знакомство. Тогда, набравшись

смелости, я спросил о том, о чем хотел спросить давно: как он относится к Приложению V, где дана отличная от его собственной трактовка частицы *wacha*. Он сказал, что в общем и целом принял мою трактовку.

— Я использую ее, — сказал он, — в преподавании сомалийской грамматики студентам из Сомали.

Тут я почувствовал, что на глаза у меня навертываются слезы и начинают течь по щекам. Было от чего. Не кто-нибудь, а сам Анджеевский, не где-нибудь, а в лондонской Школе, преподает сомали не кому-нибудь, а сомалийцам, и учит их не по своей книге, а по моей! И рассказывает мне об этом не где-нибудь, а в любимой мной Польше, в кафе на моей любимой улице с многозначительным названием.

Через три года, действительно держа путь в Новый Свет, я ненадолго оказался в Лондоне и повидался с Анджеевским. Так как у него было мало времени — они с женой спешили домой за город, встречу он назначил в привокзальном кафе. Ему вскоре предстоял уход в отставку (в Англии обязательный), и они с Шилой подумывали, не переселиться ли им тогда в Польшу, где на его скромную по английским масштабам пенсию можно будет чувствовать себя обеспеченными и без особых тревог «start slowly sinking down to death» («начать медленный спуск к смерти»), как с по-английски безупречной двойной аллитерацией, на *s* и на *d* (вполне, кстати, в духе аллитерационной сомалийской поэзии), мечтательно закончила Шила.

На пенсию он в дальнейшем вышел, однако ни в какую Польшу они, конечно, не переехали. Я переписывался с ним, но все меньше, так как со-мали постепенно забросил. В лондонской Школе я как-то раз побывал уже после его смерти — в гостях у А. М. Пятигорского. Саша принял меня в той самой Senior Common Room, то есть, попросту профессорской, название которой так интриговало меня тремя десятками лет раньше. А сейчас на пенсию вышел и Саша. Почему-то мне кажется, что, независимо от ее размеров, на покой в Россию он не поедет.

ИЗ ИСТОРИИ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ

1.

В каждое из семи своих советских десятилетий российская интеллигенция была одновременно счастлива и несчастна по-разному. Сначала она слушала музыку революции и писала плакаты про радость своего заката; потом творила, выдумывала, пробовала, наступая на горло собственной песне и ни единого удара не отклоняя от себя; потом хотела труда со всеми сообща, даже в ссылке пытаюсь большевечь и любить шинель красноармейской складки; потом час мужества пробил на наших часах, и мы были там, где наш народ, к несчастью, был...

До какого-то времени двусмысленные игры с собственным самовосприятием строились на

вытеснении неудобной информации. В 1937-м «мы ничего не знали», и только в 56-м «нам открыли глаза». Но к 70-м годам ссылаться на незнание стало невозможно, и раздвоение психики отлилось в новые позы. Альтернативой полному разрыву с истеблишментом (отъезду, протесту, лагерю), стало полу-стоическое, полу-эскапистское решение «делать свое дело» — не обращайтесь вниманья, маэстро, не убирайте ладони со лба.

Впрочем, и это новое раздвоение носило характер не столько раскола между группами, сколько внутреннего расщепления личности. В 70-е годы диссидентом можно было быть, так сказать, без отрыва от коллаборационизма. Сложилось некое цельное двоемыслие — уникальный сплав принципиальности и цинизма, суперменства и приспособленчества. Художественным выражением этой эпохи стало эзоповское письмо.

70-е годы начались в 1968-м, с вторжения в Чехословакию, если не в 1965-м, с ареста Синявского и Даниэля, и уже в 1969-м появился рассказ Фазиля Искандера «Летним днем», с редкой емкостью воплотивший новую ситуацию.

В курортном кафе рассказчик встречается с западногерманским туристом, который рассказывает ему о своем опыте интеллектуала, пережившего нацизм. В свое время замешанный в студенческих протестах против гитлеризма, он всю жизнь боится разоблачения и ареста. Где-то в

начале 1944-го года его вызывают в гестапо и предлагают сотрудничать — доносить на коллег по престижному физическому институту. Не желая, из «интеллигентского предубеждения порядочности», согласиться, но боясь прямо заявить об отказе, он умело лавирует, в частности, говоря, что «в случае враждебных высказываний... учитывая военное время... готов выполнять свой патриотический долг, только без этих формальностей». Его в конце концов отпускают, но вопрос о смысле такой половинчатой «порядочности» продолжает мучить его и вновь возникает в разговоре с рассказчиком.

Дело в том, что слова о «готовности выполнять патриотический долг» не являются чисто риторическим ходом — они отражают фундаментальную двусмысленность жизненной позиции коллаборанта, и власть понимает это не хуже, если не лучше, чем он.

«Однажды [гестаповец] чуть не прижал меня к стене, довольно логично доказывая, что, в сущности, я и так работаю на национал-социализм и моя попытка увильнуть от прямого долга не что иное, как боязнь смотреть правде в лицо. Я уклонился от дискуссии».

Однако и теперь, в беседе с рассказчиком, немец, указывая на невозможность/бессмыслен-

ность героического отказа (который он «сравнил бы с нравственной гениальностью», доступной лишь исключительным личностям), продолжает отстаивать пользу своей уклончивой порядочности:

« — Нет, порядочность — великая вещь.
 — Но ведь, она, порядочность, не могла победить режим?
 — Конечно, нет.
 — Тогда где же выход?
 — В данном случае в Красной Армии оказался выход... [А] без Красной Армии [это] могло бы продлиться еще одно или два поколения. Но как раз в этом случае то, что я называю порядочностью, приобрело бы еще больший смысл как средство сохранить нравственные мускулы нации для более или менее подходящего исторического момента».

Ключевая фраза о нравственных мускулах нации вовсе не однозначна. Практическим успехом в увильнении от вербовки история с гестапо не кончается.

Через несколько месяцев герой идет по улице со своим другом-единомышленником, навстречу им попадает тот же гестаповец, и герой замечает, что те двое кивают друг другу. В душу героя закрадывается недоверие и на какую-то секунду он готов убить своего друга подвернув-

шимся обломком кирпича. « — Ты видишь, что они сделали с нами», — говорит его друг, и герой понимает, что «нашей давней дружбе пришел конец. Он постыдился сказать, что знаком с гестаповцем, а я... не постыдился подумать, что он может меня предать».

Налицо разрушительное воздействие власти на те самые нравственные мускулы, о спасительном упражнении которых шла речь. Эта линия проведена в рассказе немца с самого начала: когда его уводят в гестапо, он соглашается притвориться перед женой, будто это просто срочный вызов на работу, а затем идти по улице как бы сам по себе, а не под конвоем: «Я уже старался жить по их инструкциям».

Двойственной тактике героя вторит амбивалентная поэтика искандеровского повествования. Главное действие рассказа перенесено из советской России в гитлеровскую Германию, зато в порядке дополнительного сигнала читателю совестливый немец русифицирован — он «с юношеских лет изуча[ет] русский язык... [ч]тобы читать Достоевского». Вершиной эзоповской иронии является, конечно, пассаж про спасение, приносимое Красной Армией, который своим непосредственным соседством бросает двоякий свет на максимум о нравственных мускулах. А подрыв этой максимы, в свою очередь, наводит некоторую тень и на эзоповскую стратегию Искандера. Все же его (и его представителей в тексте — «авторского я» и

вставного рассказчика-немца) умудренное двуличие представлено предпочтительным по сравнению с непробиваемой цельностью еще одного персонажа-интеллигента — фигурирующего на заднем плане рассказа советского «розового пенсионера», самодовольного библиофила и читателя газет, уверенно поминающего Сталина и Черчилля, но абсолютно глухого к смыслу пережитой его поколением истории.

Искандеру удалось без потерь спроецировать современную ему советскую ситуацию на Германию последних лет войны. Тут и престижный институт, за работой которого следит сам фюрер, и тактичная вербовка с учетом материальной заинтересованности, и ощущение близящегося развала империи (фанатический подъем гитлеризма давно позади; на город падают американские бомбы), и анекдоты о фюрере, которыми обмениваются друзья-интеллигенты, и, главное, четкая расщепленность сознания на диссидентские мысли про себя и верноподданнические речи вслух.

Читатели (в том числе автор этих строк) немедленно узнавали в рассказе собственный подсоветский опыт, включая эпизод с вербовкой. Да и взят он, как позднее свидетельствовал Ст. Рассадин, из жизни: в нем Искандер использовал многое из рассказанного ему К. И. Чуковским и самим Рассадиным о том, как их приглашали сотрудничать с КГБ.

Перипетии моего общения по аналогичному поводу с неким «товарищем Василием» и его лу-

бянским боссом укладываются в общем в ту же картину (см. виньетку «Выбранные места из переписки с Хемингуэем»), хотя и остались Искандеру неизвестными. Здесь приведу некоторые другие выдержки из текста моей тогдашней жизни, которые могут, мне кажется, представить интерес как своего рода материалы к истории 70-х годов. Я начну с краткого предъявления «корпуса текстов», а затем перейду к их анализу. Поскольку дело не в конкретной личности, а, так сказать, в досье на среднего инакомыслящего 70-х годов, я условно обозначу этого персонажа буквами AZ.

2.

(1) С 1959 года AZ работает на переднем крае лингвистики — в Лаборатории Машинного Перевода (ЛМП) Московского Государственного Педагогического Института Иностранных Языков (МГПИИЯ). Обследующий ЛМП майор Стрелковский с военной кафедры подчеркивает, что работа над языковой семантикой — дело ответственное, даже опасное: по самой грани идеализма ходите! AZ острит, что в таком случае работникам ЛМП полагаются кефир и надбавка за вредность.

(2) Майор Стрелковский — не последний военный, с которым приходится иметь дело. Однажды Лабораторию посещает в полной адмиральской форме член ЦК академик А. И. Берг, председатель Совета по

Кибернетике и покровитель новой лингвистики; коротенького сухонького адмирала сопровождает высокий, полный и глубоко штатский В. В. Иванов, по-адъютантски представляющий ему AZ и других сотрудников. В дальнейшем работа ЛМП над автоматическим толково-комбинаторным словарем (детищем AZ и И. А. Мельчука) ведется по договору с Министерством Обороны, надеющимся использовать МП в военных целях. А когда коллега из далекого Сиэтла (проф. Миклессен), просит показать ему (несуществующие) компьютеры, на которых реализуется МП, заведующий (В. Ю. Розенцвейг) возводит очи горе, давая понять, что инстанции, ведающие секретностью, этого не позволят.

(3) МП и вообще структурная лингвистика — не только передний край науки, но и рассадник диссидентства. С 1965 года старшие коллеги AZ (И. А. Мельчук, Ю. Д. Апресян) начинают подписывать письма протеста, AZ предлагает присоединиться, но его, как еще не защитившего диссертации, отговаривают: вес его подписи мал, а риск — велик. Защита же диссертации считается среди энтузиастов науки делом несерьезным, карьеристским, и AZ с ней не торопится.

(4) В аспирантуру, притом заочную, AZ поступает лишь в 1962 году. Он решает

обогащать свою лингвистическую квалификацию чем-нибудь «совсем другим», и под влиянием американских кумиров (Боаса, Сэпира, Уорфа), благодаря возможностям, открывшимся в связи с так наз. политикой мирного сосуществования, и по примеру друга (Ю. К. Щеглова), уже занимающегося языком хауса, выбирает сомали. Выбирает по карте, сверяясь с лингвистическими, этническими и климатическими данными. При этом московская африканистика находится в столь зачаточном состоянии, что знание языка не считается существенным условием для поступления в аспирантуру Института Восточных Языков при МГУ (ИВЯ). В то время сомали — язык бесписьменный. Его изучение сначала осуществляется AZ в Ленинке, по редким иностранным учебникам и записям устной традиции. Но затем у себя в Институте он случайно сталкивается с сомалийцем — одним из сотен, обучающихся в СССР, и через него знакомится с другими.

(5) Первым учителем AZ становится Махмуд Дункаль. Именно в его комнате в общежитии МГУ на Ленгорах AZ впервые видит нейлоновую сорочку, которая быстро стирается и высыхает выглаженной. Первый урок языка начинается с имени учителя — Дункаль, которое значит «ядовитое дерево», а также «герой». AZ не видит общей семантической основы. «Ну

как же, — говорит Дункаль, — «убивает много». «Анчар», переводит для себя AZ.

(6) По линии сорочек Дункаль никак не выделяется среди других сомалийцев. Настоящим франтом среди них является высокий красавец Ахмед Абди Хаши, одевающийся исключительно в Лондоне. В дальнейшем AZ работает с ним на Радио и на «Экспортфильме», находится в приятельских отношениях (вплоть до предоставления ему своей квартиры для свиданий с приезжей литовкой, объясняя это в домоуправлении и в милиции исследовательскими нуждами), но так и не может отделаться от ощущения собственной неполноценности.

Ахмед занимает видное положение в организации сомалийских студентов и часто рассказывает AZ о ненависти, которой в СССР окружены африканцы. Однажды он возвращается из Баку, с расследования убийства двух сомалийцев на сексуальной почве. Желая отвести от СССР обвинение в линчевании негров, посягнувших на белую женщину, AZ говорит, что азербайджанцы — дикий народ, ходят с ножами и готовы зарезать кого угодно, не обязательно негра. «Что ты мне объясняешь, — отвечает Ахмед, — я сам могу зарезать».

(7) Другой сомалиец, Хассан Касем, отказывается заниматься с AZ. Этот низкорослый, со злыми глазами поклонник Лени-

на презрительно отмечает либеральные рассуждения AZ: «Что ты можешь понимать? Ты — маленький интеллигент», — говорит он, не смущаясь ни своим ломаным языком, ни ростом и ученостью AZ.

(8) В 1964 году изучение сомали получает новый толчок: AZ поступает на Московское Радио — выпускающим редактором на полставки в сомалийскую секцию Редакции вещания на Африку. Сомалийские дикторы, специально приглашенные по контракту из Сомали, и студенты, подрабатывающие на почасовой оплате, записывают передачи на пленку, читая, ввиду бесписьменности языка, с английского или итальянского текста, поставляемого соответствующими редакциями. Выпускающий ведет запись, следя за точностью перевода по русскому оригиналу. Для изучения языка ничего лучше такой трилингвы нельзя и придумать. Завотделом Восточной Африки С. П. Романов, в свое время снятый с более высокого поста, наставляет AZ: «Ты, главное, следи за отрицательными частицами, а то нам всем не сдобровать». AZ успокаивает его сообщением о наличии в сомали особого отрицательного спряжения.

(9) Сомалийский диктор Абди Хаши — такой же новичок на Радио, как AZ. Он из Могадишо, т. е. из бывшего Итальянского Сомали. Там, где знание сомали подво-

дит AZ, они разговаривают по-итальянски. Ориентируясь на предполагаемый социальный заказ, Абди пытается обращаться к AZ с коммунистическим «товарищ» (*compagno Alek*). Его простодушное невежество и незнакомство со штампами советской пропаганды служит идеальным стимулом для изучения языка благодаря тщательной и многократной совместной проработке каждого текста.

(10) В Сомали только недавно (1960) была провозглашена независимая республика. Абди с гордостью говорит о ее отличиях от других африканских государств. Во-первых, носители разных сомалийских диалектов хорошо понимают друг друга, причем на собственном языке, а не навязанном им колонизаторами. Во-вторых, разные ветви власти — администрация, армия, полиция — находятся в руках разных племенных групп, и потому насильственные перевороты исключены.

Наличие в сомалийском языке трех основных диалектных объединений известно AZ из книг. Однако его вопросы к информантам о вариантах произношения и других языковых различиях натываются на возмущенную реакцию: диалекты, племена, трайбализм — это выдумки колонизаторов.

(Пройдет несколько лет, и в 1969 году тотальную власть захватит генерал Мохаммед Сиад Барре, опираясь на обученных

в СССР военных. Он введет единую латинизированную письменность. Абди он сделает своим представителем по связям с печатью. Ахмед станет послом в ГДР. В дальнейшем Сиад начнет войну с Эфиопией, будет предан советскими покровителями и свергнут. В Сомали воцарятся голод и анархия.)

(11) Приглашенные на почасовых началах сомалийские студенты, получив зарплату, вдруг исчезают.

— В чем дело? — спрашивает AZ. — Им что, показалось мало?

— Наоборот, они думают, что этих денег им хватит до конца жизни. На следующей неделе, когда все потратят, вернуться, — разъясняет Г. Л. Капчиц, ученик AZ, теперь тоже работающий в редакции.

(12) Не все разделяют это благодушное отношение к сомалийцам. Один из редакторов, некий крестьянского вида Володя, не знающий языка и берущий у сомалийцев интервью по-русски, забрасывая очередную кассету на антресоли над дверью, поясняет удивленному AZ:

— Там они у меня все, голубчики, как один, записаны. Захотят потом отпереться, а у меня, пожалуйста, пленочка. Твой голос или не твой?

(13) Подходит время сдачи кандидатского экзамена. Его организация возлагает-

ся научным руководителем (Н. В. Охотиной, специалистом по суахили) на самого AZ. Экзамен должен состоять из письменного перевода незнакомого текста, разговора на языке с носителем и грамматического анализа текста. Однако ввиду бесписьменности языка письменный текст взять неоткуда, если не считать немногочисленных материалов в научной транскрипции, которые AZ знает чуть ли не наизусть, так что ни о каком незнакомом тексте не может быть и речи. Сомалиец-информант обещает прийти на экзамен, но не является. Единственное выполнимое условие — пункт относительно «без словаря», ибо сомалийского словаря в то время нет и в помине. Возглавляет комиссию прогрессивный, в свое время битый за формализм, профессор-руссист П. С. Кузнецов — неизменный экзаминатор и оппонент по структурной лингвистике, африканистике и вообще всему «новому». А вскоре AZ поручают преподавание сомали как второго языка для студентов-амхаристов. На вступительной лекции AZ выражает надежду, что к концу двухгодичного курса кто-нибудь из собравшихся, вероятнее всего, он сам, научится говорить на сомали.

(14) Сомалийское вещание процветает. Встает вопрос о зачислении Капчица, превзошедшего своего учителя и действительно научившегося говорить по-сома-

лийски, в штат. AZ идет просить за него к заведующему «всей Африкой» С. С. Евсееву (сыну профессора, мотоциклисту, начальнику, работающему под интеллектуала) с аргументацией, основанной на уподоблении Московского Радио средневековым монастырям: официальные тексты в обоих случаях — полная ерунда, но спасение монахами античных классиков, а просвещенным радиокomiteетским начальством специалистов по экзотическим языкам — неоценимый культурный подвиг. Капчиц, иногородний еврей, но зато член партии и уникальный специалист, получает работу и прописку.

(15) Сам AZ, овладев сомалийским языком в масштабе передач Московского Радио, со скромной должности редактора-выпускающего переходит на роль диктора-переводчика. Это крупное профессиональное и финансовое повышение. Переводчик на суахили, толстенный остряк Саша Довженко, сидящий за машинкой напротив AZ, приветствует его в его новой роли вопросом:

— Ну, как, профессор, уже вычислил, какая у тебя производительность труда?

— ???

Довженко театрально опускает палец на клавиатуру.

— ???

— У нас тут каждый знает, сколько стоит его удар по клавише. — Довженко называ-

ет точную цифру зарабатываемых им за печатный знак копеек.

(16) Дежурная по редакции просит AZ задержаться — ожидается важная новость. AZ томится. Наконец, из Главной редакции поступает долгожданная страничка: «В связи с предстоящим празднованием столетия со дня рождения Ленина, принято решение...»

— Какая же это новость, — комментирует AZ, — если что-то случилось сто лет назад?

(17) «Или вот так. — Довженко на минуту отрывается от машинки. — Вот так: «Дорогие друзья! Вы прослушали беседу с уборщицей Московского Автозавода имени Лихачева Замухрыгиной. Перевел.. доктор филологических наук, профессор Московского Университета... Жолковский». А?»

(18) AZ, подталкиваемый старшими коллегами, в частности, Розенцвейгом, говорящим ему, что он «ослабляет свою [научную] партию», пишет, наконец, диссертацию (по синтаксису сомали), и на май 1968 года назначается защита. Одновременно AZ, возбужденный событиями «пражской весны» и заявлением Павла Литвинова по «Голосу Америки» о готовящемся процессе Гинзбурга и Галанскова, подписывает соответствующее письмо протеста. Институт, где работает AZ,

отзывает назад свою характеристику — необходимый компонент всякой защиты, и та в последний момент, уже после рассылки автореферата, отменяется.

(19) На Радио по крайней мере некоторые из коллег осведомлены о диссидентстве AZ, то ли по московским слухам, то ли из материалов так называемого «радиоперехвата» — распечаток передач зарубежных радиостанций для служебного пользования. В разговоре с AZ обозреватель Ю. Фонарев полуиронически упоминает о ставшем ему известным участии AZ в «акциях советской интеллигенции». Однако никакой официальной реакции со стороны радиокомитетского начальства не следует, а AZ на Радио своего подписанства не афиширует.

(20) В сентябре, после вторжения в Чехословакию, AZ, оказавшегося единственным подписантом на весь Институт (готовящий международных переводчиков), вызывают в ректорат. Ректор (М. К. Бородулина) просит AZ написать письменное объяснение. Понимая, что властям нельзя давать никакого материала для манипуляций, он отказывается, ссылаясь на внеслужебный характер своего поступка. Ректор просит его назвать тех, кто дал ему письмо на подпись. Он опять отказывается, указывая на нетоварищеский, некомсомольский характер подобного раз-

глашения. Ректор перестает здороваться с AZ и приступает к принятию более жестких административных мер.

(21) Следует серия вызовов AZ в партбюро с целью запугать его и вынудить либо к отречению от подписи, либо к добровольному уходу по собственному желанию. Он дипломатично, но твердо отказывается, испытывая в то же время чувство унижения от общения с секретарем партбюро (Ф. П. Березиным) и переговоров с ним на советском лексиконе.

(22) Угроза изгнания с работы все более сгущается. На троллейбусной остановке напротив Института с AZ заговаривает редактор институтской многотиражки, симпатичный, но бесконечно печальный и осторожный еврей (Комановский).

— Как ваши дела, — спрашивает он.

— Допустим, плохи, — с вызовом отвечает AZ.

— Вот и я думаю, что плохи, — грустно кивает Комановский.

Через год AZ встретится с ним в желудочно-кишечном санатории в Эссентуках, куда AZ приведет стресс от борьбы с истеблишментом, а через несколько лет Комановский умрет — еще не старым человеком.

(23) На круглом столе по вопросам структурализма в редакции журнала «Иностран-

ранная литература» к AZ подходит его учитель и старший коллега и тоже подписант В. В. Иванов. Со ссылкой на информацию из верхов, он предсказывает, что AZ уволят. В ходе заседания кто-то в защиту структурализма упоминает недавнюю статью члена ЦК Французской компартии Ги Бесса (то ли в «Вопросах философии», то ли в «Леттр франсэз»). На это оппонент структурализма А. Наркевич возражает, что статья была напечатана в мае, а сейчас на дворе ноябрь. Подразумевается, что происшедшее в промежутке вторжение в Чехословакию резко изменило все оценки.

— Иными словами, майские тезисы устарели, — подает реплику AZ. — Как же тогда быть с апрельскими?

(24) Узаконенным способом увольнения служит процедура переаттестации сотрудника, в ходе которой начальство более или менее искусно или достаточно грубо трансформирует политическую неблагонадежность в профессиональную непригодность. AZ хочет с презрением отказать от цепляния за низкооплачиваемую и по сути давно превзойденную им должность младшего научного сотрудника, но Розенцвейг убеждает его, что сдаваться без боя значит идти навстречу гонителям. На заседание кафедры языкознания (ноябрь 1968 года), посвященное переаттестации AZ, помимо постоян-

ных членов, впервые в жизни являются все полуставочники и почасовики, преподающие структурные и математические курсы, образуя неожиданное демократическое большинство. По совету Розенцвейга, AZ отвечает на политические обвинения сдержанно, указывая на правомерность своей акции, продиктованной заботой о соблюдении норм социалистической законности и адресованной не антисоветским кругам, а ЦК КПСС. Кульминацией заседания становится смелое выступление ученого секретаря Института А. Я Шайкевича, подчеркивающего профессиональные заслуги AZ и взывающего к совести собравшихся. Оценив обстановку, дипломатичный партиец Ю. В. Рождественский предлагает, а проректор Института по научной работе Г. В. Колшанский поддерживает, компромиссную резолюцию отложить переаттестацию на год, в течение которого AZ сможет осмыслить свое поведение и вновь заслужить доверие коллег. Резолюция принимается единогласно.

(25) В новом 1969 году секретарем партбюро и завкафедрой марксизма-ленинизма Института становится вернувшийся из-за границы В. Г. Карпушин, специалист по итальянскому Возрождению и человек с репутацией кагэбэшника-либерала, которому поручено наладить идеологическую работу в Институте. С разных

сторон, в том числе от Розенцвейга и Шайкевича, AZ слышит, что Карпушин о нем спрашивал и что ему следует с ним встретиться. Карпушин расспрашивает AZ о том, как свершилась его «culpa», и перемежает его рассказ изощренными социологическими комментариями о функционировании групп давления на властные структуры, неизбежно выходящем из-под контроля индивидуальных участников. Он заключает беседу благосклонным: «Работайте». AZ говорит, что для него нормальная работа предполагает защиту диссертации. «Хорошо, — отвечает Карпушин, — дайте мне взять дела в свои руки и через месяц приходите за характеристикой».

(26) По прошествии месяца AZ напоминает о договоре. — «Заходите во вторник и принесите вашу старую характеристику». В несколько приемов (с недельными интервалами) Карпушин сокращает пышную прежнюю характеристику до минимальной констатации фактов («Поступил... Работал... Опубликовал...»); каждый очередной вариант он подает на подпись ректору и каждый раз получает отказ. После энной попытки он говорит AZ: «Она ничего не подпишет. Она вас ненавидит. Но скоро она уходит в отпуск, и тогда я пойду к Колшанскому». Колшанский подписывает характеристику, добавив в нее многозначительно уклончивую

формулировку о «недостаточно активном участии в общественной работе».

(27) После ряда перипетий защита назначается на конец апреля 1969 года, то есть за считанные дни до истечения срока действия разосланного в прошлом году автореферата. На защиту — единственную в Москве кандидатскую защиту подписанта-гуманитария — приходит множество народа. Фразу об общественной работе ученый секретарь по собственной инициативе, подкрепленной своевременным вручением коробки конфет, решает не зачитывать. Видные оппоненты (А. Д. Зализняк, А. Б. Долгопольский) отмечают высокий научный уровень диссертации. С краткой речью выступает приведенный Капчицем сотрудник сомалийского посольства, приветствующий успех первой в СССР диссертации по языку его молодой республики. Тринадцатью голосами против четырех Ученый совет присуждает AZ искомую степень. ВАК утверждает это решение.

(28) Через два года выходит основанная на диссертации книга AZ, в качестве языковых примеров использующая тексты передач Московского Радио об американской агрессии во Вьетнаме и им подобные.

(29) С защитой диссертации, выходом книги и повышением в должности на ос-

новой работе AZ сокращает свое присутствие на Радио. Капчиц занимает его место диктора-переводчика, а выпускающим редактором становится высокая и энергичная аспирантка Зоя Степанова, член КПСС. Несмотря на слабое владение языком и дефекты артикуляционного аппарата, она в отсутствие начальства начинает и сама выступать в роли диктора. Как сообщает один из студентов-сомалийцев, у его отца, регулярно слушающего передачи всех иностранных станций на сомали, появление в эфире нового голоса вызывает вопрос: «Малышку-то зачем мучают?»

(30) Уйдя с Радио, AZ сохраняет за собой другую сомалийскую халтуру — дубляж документально-пропагандистских фильмов на киностудии «Экспортфильм». AZ, Капчиц и подобранные ими дикторы-сомалийцы сосредотачивают в своих руках перевод и дублирование всех фильмов на сомали. (Этот источник доходов AZ не оставит даже в 1978 году, когда, подав документы в ОВИР, уйдет с основной работы.)

Монопольное положение дает интересные преимущества. Например, внезапно звонят со студии: в связи с правительственным визитом в Сомали необходимо быстро записать соответствующий фильм.

— В следующий вторник, — назначает AZ.
— Им нужно раньше.

— Раньше вторника не можем.

AZ едва успевает сговориться с Капчицем, как раздается звонок из ЦК. AZ умолим:

— Я же сказал, что до вторника не могу.

— Тогда мы найдем кого-нибудь другого. Незаменимых у нас нет!

Звонит Капчиц: с ним только что пытались назначить запись без AZ. Новый звонок из ЦК:

— А почему вы не можете раньше?

— А почему вы не позаботились прислать ваш материал и назначить запись заранее?

— Сейчас речь не об этом. Вы должны срочно выполнить ответственное задание.

— Вот во вторник и будет срочно, вне обычной очереди.

— А раньше никак нельзя?

— Никак. Я занят у себя на работе.

— Мы можем на это время освободить вас от работы.

— Спасибо, не надо. Я люблю свою работу. А вам советую лучше делать свою, пока вас самих не освободили. До вторника.

(31) В 1974 году AZ все-таки увольняют: после высылки Солженицына атмосфера в стране меняется к худшему, и ректор наотрез отказывается возобновить контракт, на который AZ перешел ввиду отсутствия в штате должности для кандидата наук. Он устраивается в «Информэлектро» — информационный институт Мини-

стерства Электростанций, либеральный и независимый директор которого (С. Г. Малинин) охотно нанимает неблагонадежных интеллектуалов. В этом ему пытаются препятствовать заведующий отделом кадров Н. Е. Лебедь («нелебедь»). Последнему принадлежит историческая фраза: «Ладно, будем брать всех: евреев, диссидентов – всех... Но не только же всех!»

Интервью с Лебедем AZ проходит успешно.

– Ну, а читать вы любите?

– Люблю.

– Что же вы последнее время читали?

AZ называет каких-то авторов.

– Ну, а Ленина вы часто перечитываете?

– Вы очень странно ставите вопрос. Ленина не читают – Ленина изучают. Я вас даже не понял.

– «Материализм и эмпириокритицизм» давно изучали?

– Для нас, лингвистов, это настольная книга.

– А не помните, что Ленин там говорит о Канте? – спрашивает Лебедь, повидимому, как раз в это время проходящий в семинаре по марксизму соответствующую главу. AZ рапортует про ограниченность кантовского понимания вещи в себе.

Идеологический экзамен выдержан. Лебедь готов взять AZ на работу, но только через месяц – в следующем месяце нет денег. «Вы что же, думаете, что я пойду

на перерыв стажа?!» – возмущается AZ, проходя таким образом и проверку на вшивость. Его зачислят немедленно.

(32) На этой работе с рекордной для него зарплатой AZ не делает совсем ничего и, готовясь к отъезду («Информэлектро» пользуется репутацией «пусковой площадки» для отъезжантов), пишет и печатает за границей статьи по поэтике, а тем временем дружит с профоргом, ходит с коллективом в сауну и вообще считается своим парнем. Ему даже выдают характеристики для частных поездок за границу – в Польшу. При подписании очередной характеристики Лебедь, как полагается, устраивает AZ экзамен по политической грамотности.

– Ну, а материалы съезда партии прорабатывал?

– Что за вопрос?

Из полупустого сейфа, в котором виднеется также бутылка кефира, Лебедь вынимает красный том материалов очередного съезда и торжественно раскрывает его:

– Посмотрим, посмотрим, что ты знаешь.

– Так нечестно, Николай Еремеевич, неспортивно – вы с книгой, а я без. Уберите книгу, тогда и спрашивайте.

– Ладно, что там у тебя, давай подпишу.

AZ про себя решает, что следующая характеристика, за которой он обратится к Лебедею, будет для выезда в Израиль. (Так в дальнейшем и случается.)

(33) AZ, проводящего рабочее время на даче, вдруг срочно вызывают на работу — за ним даже присылают секретаршу. Приехав в город, он звонит своему заведующему (Б. Румшискому), и тот объясняет, что AZ нужен не их начальству, а Министерству Иностранных Дел, откуда его стали искать через отдел кадров, а это уже чревато неприятностями.

— Понятно, — говорит AZ. — Поскольку я им явно нужен, скажите, что мне от них потребовать.

— Очень просто: пусть они позвонят в наш отдел кадров и извинятся — скажут, что они забыли, что вы уже с утра работаете у них в... другой башне.

Мидовцы действительно готовы на все — им нужен перевод на сомали речей Председателя Президиума Верховного Совета Подгорного для его предстоящего визита в Сомали, а Капчица нет в городе. Дело это плевое, AZ просит немедленно доставить ему тексты, он переведет их сегодня же (и еще успеет на дачу). Однако, это невозможно: «Первый Отдел не завизирует вынос текстов из МИДа». AZ приходится на следующий день явиться в здание на Смоленской, томиться в ожидании заказанного пропуска, пройти через двойные милицейские посты (сначала Министерства Внешней Торговли, потом МИДа; на Радио пост один, зато документы проверяют дважды — при входе и при выходе) и, получив, наконец,

тексты, ждать, пока из другого отдела доставят латинскую машинку (в отделе Сомали ее нет — язык-то бесписьменный). AZ мгновенно переводит речи, ничем не отличающиеся от ежедневных радиоматериалов, и заводит разговор об оплате и уходе. Однако оказывается, что это еще не все речи — последнюю вот-вот подвезут. Пока что AZ, в сопровождении мидовского специалиста (Бобылева), не владеющего сомали, хотя и получающего надбавку за знание языка, отправляют в закрытый буфет, где по особым ценам можно роскошно поесть и отовариться икрой. Наконец, текст последней речи приходит, AZ тут же переводит его и снова заговаривает о расчете. Но не тут-то было: завтра из ЦК поступят окончательные исправления, и их надо будет на месте внести в перевод. «Так зачем же вы мне давали это сырье?» — возмущается AZ, но делать нечего. Поездка на дачу отодвигается еще на день.

Назавтра AZ вручают поправки, и через пять минут он приносит перевод.

— Уже? — недоумевает заведомом Восточной Африки.

— А чего долго чикаться? Большинство поправок либо грамматические, либо логические — я их сам внес еще вчера. Ну, а за такие тонкости, как различие между «дружеским отношением» и «дружественностью», я и не берусь. Так что прикажите получить.

В дальнейшем AZ смотрит документальный фильм о визите Подгорного в Сомали и видит, как его перевод читает известный ему сотрудник советского посольства, посредственно владеющий языком. Когда позже AZ рассказывает всю эту историю Щеглову, тот замечает, что AZ зря ждал латинской машинки: лучше было бы написать перевод русскими буквами, тогда Подгорный смог бы прочесть перевод сам — ему-то какая разница, что читать?!

В этих трех десятках фрагментов «все правда» — в том смысле, что ничего не выдуманно, хотя, конечно, отбор эпизодов и деталей и стиль изложения неминуемо несут какой-то смысловой заряд. Не исключено, что существенным фильтром служит уже сам механизм памяти, имеющей тенденцию удерживать лестное и опускать неприятное. Но даже и при наличии такого лакировочного налета приведенный протокол представляется красноречивым документом (существенно отличающимся от ряда беспроblemных автогероизаций в мемуарных свидетельствах о той поре). Ниже предлагается его анализ, который опять-таки может оказаться не свободен от авторской субъективности. Впрочем, те или иные поправки на возмущающие факторы необходимы применительно практически к любым текстам и анализам.

3.

Протокол отражает стадии профессиональной карьеры AZ в двух ее основных аспектах: научном — в рамках соответствующих институтов (МГПИИЯ, ИВЯ, «Информэлектро», издательство «Наука», журнал «Иностранная литература»), и прикладном — в рамках средств массовой информации (Московское Радио, студия «Экспортфильм»). С профессиональными сплетаются этико-идеологические коллизии (подписание писем, отстаивание структурализма), развертывающиеся на политическом фоне — внутреннем (аресты, процессы, Синявский, Солженицын, петиционная кампания, партийное и административное начальство, дискуссия в журнале) и международном (Сомали, колониализм, освобождение Африки, Вьетнам, Чехословакия, «Голос Америки», эмиграция в Израиль). Единой сюжетной канвой служит «сомалийский» мотив, так или иначе причастный этим разным сферам. А основную тему этого сюжета составляют, конечно, взаимоотношения человека, точнее — инакомыслящего интеллигента, и власти — советской власти 1970-х годов.

Диссидентский элемент не требует особых комментариев. AZ критически относится к официальной политической линии, сочувствует реформам Дубчека, разделяет позиции арестованных и высылаемых правозащитников и подписывает письмо в их поддержку (см. 18); отвергает претензии

начальства на идеологический контроль над наукой (3); пренебрегает институциональной карьерой (защитой диссертации) (3); настаивает на допущении в свою квартиру негра (6); вмешивается, будучи сам полуевреем, в трудоустройство еврея-ученика (14); эмигрирует (32). В своем «свободомысле» он не одинок — так или иначе его поддерживают и защищают друзья-подписанты и коллеги по Институту (3, 24, 25, 27); вчуже уважительно звучит даже реплика обозревателя с Радио (19). Главным оружием AZ служит профессионализм — к его научным заслугам апеллируют Шайкевич в ходе переаттестации (24) и оппоненты на защите (27), на свою назаменимость как переводчика с редким языком опирается он сам во взаимоотношениях с заказчиками из ЦК и МИДа (30, 33).

Наряду с серьезными политическими акциями, основным способом демонстрации идеологической независимости AZ является его фрондерское остроумие. Оно направляется на официальные святыни: апрельские тезисы Ленина (23); пропагандистские материалы Радио (уподобляемые религиозным) (14); идеологическую монополию партии в вопросах науки (1) и логической связности речей главы государства (33); практику подмены новостей ритуальными сообщениями (о ленинском юбилее) (16).

Позиция AZ и здесь, как правило, опирается на авторитет Науки. Таковы: замечание о наличии в сомали отрицательного спряжения, как бы нарочно созданного по заказу цензоров (8); «историко-

научное» рассуждение о сходстве Радиокomiteта со средневековыми монастырями (14); похвальба исправлением ошибок в правительственном тексте (33). Особо ядовитый характер носят остроуты, построенные на полемическом присвоении советского этоса: слова о «нетоварищеском» поступке в разговоре с ректором (20) и о «нечестности» экзаменационного опроса с решениями съезда в руках (32); издевательские поучения начальнику отдела кадров о том, как надо выражаться по поводу книг Ленина (31), и работникам аппарата ЦК о необходимости с любовью исполнять свою работу (30) Весь этот юмор, однако, не оригинален, а принадлежит к определенной принятой стилистике, общей для «независимой» интеллигенции (см. остроуту Щеглова о русской транскрипции для Подгорного [33]) и «слуг режима» (см. хохмы Довженко (15, 17), особенно вторую — о «профессоре», переводящем уборщицу, и Романова — о бдительности по поводу частицы «не» (8)).

Негативное отношение AZ к власти не ограничивается полемическим отпором ей, а исходит из явно или неявно исповедуемой установки на «использование» ее в своих целях — научных и материальных. В материальном плане речь идет об основной и дополнительной зарплате, в научном — о возможности заниматься интересующими AZ исследованиями (языковой семантикой; экзотическим языком). Начальство (институтское, военное, радиокomiteтское, киношное, цековское) рассматривается AZ и его коллегами-учеными как неве-

жественный заказчик, наивно надеющийся получить нужный ему продукт (программу машинного перевода, пропагандистское воздействие на африканских потребителей) — продукт, который в действительности столь далек от реализации, что государственная поддержка фактически оказывается финансированием чисто исследовательских проектов.

Именно эту мысль AZ впрямую высказывает Евсееву под видом циничной насмешки над режимом, понятной лишь рафинированным интеллигентам (14). Особо шикарный жест в духе такого «кэмпового» обращения с официальным дискурсом представляет насыщение новаторской в лингвистическом отношении книги о сомалийском синтаксисе идеологически выдержанными цитатами из советских радиопередач (28). Прагматически наиболее выгодным осуществлением принципа «использования» становится полная подмена служебных обязанностей в «Информэлектро» собственными научными занятиями (32), а наиболее эффектным символически — триумф над заказчиками из ЦК в вопросе о сроках кинозаписи (30); в меньшем масштабе таково же манипулирование мидовцами по указанию Румшиского (33).

Возможности подобного карнавального торжества профессионала (так сказать, «буржуазного спеца») над властью кроются, конечно, в ее собственном непрофессионализме, вытекающем из ее упора якобы на идеологию, а в действительности на чисто силовые приемы контроля. Вера в гру-

бую силу налицо в запасании потенциального компромата на сомалийцев (12); в разнообразном давлении институтского начальства на AZ-подписанта (18, 20, 21, 24); в предложении цековского заказчика кинозаписи освободить AZ от его дел на основной работе (30); в реплике Наркевича о прямой зависимости научной аргументации от введения войск в Чехословакию (23); в дикторских выходах в эфир партийной редакторши (29).

Оборотной стороной силового произвола является фактический развал на всех участках истеблишмента: отсутствие компьютеров в учреждении, предположительно занимающемся машинным переводом (2); отсутствие специалистов (преподавателей и подготовленных аспирантов) и материалов по языку, изучаемому в аспирантуре (13); профессиональная непригодность специалистов по языку сомали в МИДе и в советском посольстве в Сомали, не говоря об отсутствии латинопишущей машинки в сомалийском отделе МИДа (33); приглашение по контракту на Радио полуграмотного диктора из Сомали (9); принятие в аспирантуру и на работу по сомали во всех отношениях непригодной кандидатки (29); неорганизованность цековских чиновников, полагающихся на штурмовщину под магическим лозунгом срочного ответственного задания (30); примитивный уровень работы с кадрами у начальника соответствующего отдела в «Информэлектро» (31, 32); низкая квалификация мидовцев, поготовивших речи президента (33).

4.

Итак, практикуемые властью силовые меры вызывают — а демонстрируемое ею профессиональное бессилие делает возможным — ответное силовое поведение интеллигентов (примеры см. выше в разделе об «использовании»). Такая зеркальность естественно чревата опасностью уподобления интеллигентов представителям власти. Элементы «уподобления» можно усмотреть во всех тех ситуациях, где интеллигент буквально или фигурально срастается с официальным начальством, например: в фигуре умолчания (о компьютерах), символически отождествляющей руководителя ЛМП Розенцвейга с секретными органами (2); в дикторстве AZ от имени Московского Радио (недаром Абди Хаши пытается увидеть в нем «товарища» (9)); во взятке конфетами ученому секретарю ИВЯ и в приглашении на защиту диссертации сомалийского дипломата (27); и, разумеется, в игриво мстительной демонстрации AZ собственной власти над заказчиками из ЦК (30).

Специального внимания заслуживает поведение, субъективно противостоящее политике властей, но обнаруживающие подспудную завороченность их могуществом. Таковы по видимости столь разные, а по сути схожие слова сочувствия, обращенные к AZ, с одной стороны, запуганным редактором многотиражки Комановским (22), а с другой, видным диссидентом Ивановым (23). В обоих случаях убеждение в неотвратимости спускаемой «сверху» кары составляет неотъемлемую

часть подсоветской ментальности. У Комановского оно проникнуто всепоглощающим, мистическим, «вечно-жидовским» страхом, у Иванова, напротив, основано на якобы точной информации из высших эшелонов власти (в частности, возможно, от «своего» начальства типа академика-адмирала Берга (2)), но оба они признают единственным деятельным субъектом развертывающихся событий начальство и отказывают в аналогичном статусе рядовой массе. Иными словами, представление обоих о происходящем отмечено той же закрытой детерминированностью, что и официальный самообраз диктатуры. Сюда же примыкает принятие диссидентами официальной «табели о рангах»: ученый без степени (AZ) признается ими как бы де-факто несуществующим — во всяком случае для целей противостояния власти (3). Тем интереснее компромиссный исход переаттестации (24), свидетельствующий о принципиальной открытости процессов.

Суперменскому соревнованию AZ с властью, казалось бы, противоречит его бросающийся в глаза «отрыв от реальности». AZ выбирает свою диссертационную специальность по карте (4); впервые видит нейлоновую рубашку на сомалийце (5); осмысляет реальную пронизанность сомалийской ментальности насилием, хорошо известную ему по книгам, опять-таки через посредство литературы (пушкинского «Анчара») (5); обнаруживает полную наивность перед способным «зарезать» Ахмедом (6); предстает профессором не от мира сего на

фоне Довженко и других радиокомитетских старожилов (15) и даже своего недавнего ученика, разъясняющего ему мотивы исчезновения сомалийских студентов по получении гонорара (11).

Интересным образом этот «отрыв от реальности» тоже находится в зеркальном соотношении с ситуацией в лагере властей, о невежестве и непрофессионализме которых речь уже шла. «Неинформированности» обеих сторон вторит дезориентация находящихся между ними «третьих сил»: диктора Абди, называющего AZ «товарищем» и плохо ориентирующегося в советской, да и сомалийской, политике (9, 10); студентов, наивно переоценивающих свой заработок (11); американского специалиста по МП, верящего в секретную мощь советской электроники (2).

Рассматриваемый «отрыв» AZ и других от реальности является следствием и проявлением традиционной оторванности русской интеллигенции как от «народной почвы», так и от властных структур. Отрыв этот отчасти органичен, отчасти же культивируется сознательно, ибо позволяет интеллигенту занимать по отношению к «реальности» отчужденно свободную, безответственную — вплоть до суперменского аморализма — позицию, проявляющуюся в перечисленных выше силовых стратегиях использования власти и уподобления ей.

Примечательной в этой связи чертой поведения AZ является также тщательное разделение им двух сфер деятельности — научной и деловой — на, так сказать, несообщающиеся сосуды. Свое подпи-

санство он если не скрывает, то во всяком случае никак не рекламирует на Радио (19) и «Экспортфильме» (30), продолжая работать там как ни в чем не бывало во все время и даже после своих диссидентских перипетий. Собственно, одной из функций второй специальности (сомали) и второй работы (на радио и киностудии) и являлось с самого начала приобретение уязвимым интеллигентом дополнительной (по принципу катамарана) устойчивости в неверной советской обстановке. Ситуация, однако, существенно изменилась в момент подписания письма — акта сознательного, публичного, демонстративного неповиновения властям. Следование при этом более традиционной стратегии самосохранения путем ухода в нишу «другой работы» противоречит самой сути диссидентской акции, обнажая нравственную проблематичность фрондерского поведения AZ.

Несмотря на все попытки опротестования, осмеяния, использования и игнорирования власти, она остается неоспоримой реальностью. Непреложным фактом является работа AZ — в роли редактора-цензора, а затем переводчика и диктора — на службе официальной советской политики, исполняемая им в обмен на деньги, социальный и интеллектуальный престиж, самообраз независимого человека и исследовательские возможности. Сосредоточение на своих сугубо научных интересах и силовых играх с властью на основе стратегии «отрыва» приводит к игнорированию еще одного аспекта реальности, имеющему серьезные моральные последствия.

Полемико-юмористическое и силовое обращение штампов советской идеологии против носителей власти и их «кэмповое» использование в научных целях предполагают, поощряют или порождают пренебрежение к их прямому смыслу — реальному существованию тех проблем, ситуаций и людей, которые подразумеваются этими клише. Как показывает опыт незадачливой партийной дикторши (29), сомалийские радиослушатели действительно существуют, действительно слушают и действительно реагируют, хотя и не обязательно так, как это от них ожидается. Аналогичным образом, применительно к AZ сомалийцы существуют не только как носители языка, подлежащего изучению и описанию, но и как реальные люди, жители реальной страны, переживающей определенный этап своей истории. И от этой реальности деятельность AZ, возможно, оказывается вовсе не столь оторванной, как он себе представляет. Не исключено, что советская пропаганда, ведущаяся с его профессиональной лингвистической помощью, вносит свой вклад в осуществление политики советского внедрения в Африку, в частности, в совершение военного переворота генералом Сиадом (10). Что же касается абсурдного характера этой политики — ее «оторванности» от жизни, то результатом этого становится отнюдь не полная и постоянная ее неэффективность (позволяющая AZ мысленно списывать политику со счета), а, напротив, ее дорогостоящее осуществление и еще более катастрофический последующий провал, губи-

тельные в какой-то мере для ее советских инициаторов, а затем и всего советского истеблишмента и народа, но в первую и самую непосредственную очередь, для ее африканских адресатов, в частности, для Сомали.

Таким образом, мысленное восприятие целого реального народа как неких абстрактных носителей языка, которые интересны лишь в качестве материала для научных исследований, проводимых за счет нереальных геополитических амбиций советской власти, оборачивается практическим соучастием в осуществлении этих амбиций и моральным уподоблением высокомерному игнорированию этого народа как полноценного субъекта истории. В некоем глубоко ироническом смысле прав оказывается сомалиец-ленинист Хассан Касем, когда он объявляет AZ «маленьким интеллигентом», не разбирающимся в политике (7). Проблема моральной ответственности AZ предстает аналогичной хрестоматийному случаю с физиком, участвующим в изобретении и производстве средств массового уничтожения, особенно, если он находится на службе у преступного режима.

Более или менее позитивный характер носят лишь эпизоды с переаттестацией, получением характеристики и защитой диссертации (24-27). Позитивны они не просто потому, что представляют собой a success story («историю успеха»), — в конце концов, работа на Радио и киностудии тоже развивается успешно, — а ввиду того характера, который носит в них взаимодействие с властью.

Несмотря на общую атмосферу противостояния и чисто силовые приемы, применяемые начальством (ректором, партбюро), взаимодействие с ним следует «парламентарной» тактике терпеливых переговоров, процедурных тонкостей, мелких уступок и взаимных компромиссов. Именно такая тактика, вначале отвергаемая AZ с позиций «суперменского отрыва» как унижительно мелочная и «притворная» (21, 24), сочетая отдельные героические акции (в данном случае со стороны не AZ, а Шайкевича) с опорой на «общественное мнение» (в лице кафедральных почасовиков) (24), оказывается не только прагматически эффективной, но и исторически перспективной.

Действительно, этот опыт — в составе правозащитного движения в целом — может рассматриваться как прообраз тех демократических сдвигов, которым суждено было произойти в масштабе всей России полтора десятка лет спустя. А главное, он являет редкий случай практического успеха, приемлемого и в моральном отношении, — поистине образец, выражаясь в искандеровских терминах, «выхода», обретаемого с помощью «нравственных мускулов». Однако сочетание в этической мускулатуре того же AZ этих конструктивных черт с имморализмом «суперменского отрыва», являющееся, в свою очередь, предвестием неустойчивости современной политической ситуации, свидетельствует скорее об уникальности таких «образцовых» моментов в истории общественной борьбы.



ТАМ

Семнадцать мгновений весны

Операция отъезд не была ускоренным марш-броском; она составляла в жизни будущего эмигранта целую переходную эпоху. Одной ногой он некоторое время продолжал двигаться по привычной советской колее, а другой уже нащупывал неведомую заграничную почву. Задолго до «подачи», он начинал примеривать ее к себе, включался в предотъездные маневры уезжающих друзей, попадал в полосу отчуждения. При этом, в подневольной совковой ипостаси он чувствовал себя гораздо свободнее, чем в сулившей избавление эмигрантской, сковывавшей его разнообразными советскими, западными и особыми отъезжантскими правилами. Было много курьезов.

Известный лингвист Арон Борисович Долгопольский собрался в землю праотцев сравнительно рано, где-то в середине 70-х. Арон, или, как любовно называл его Мельчук, Арончик, был маленького роста, подвижной и jovialный. Он носил сильные очки, нескладно вертел головой и картавил, но это не мешало ему быть полиглотом и одним из пионеров ностратики – гипотезы о родстве целых языковых семей. Свои огромные картотеки он, курсируя между Институтом языкознания и Ленинской библиотекой, таскал на себе и потому ходил обычно с двумя портфелями, а иногда еще и с рюкзаком. (Notebook'ов тогда не было в помине.)

И вот он подал документы, получил разрешение и отбыл на историческую прародину. К

суматохе вокруг его сборов я причастен не был, но от Мельчука узнал, что все прошло в общем гладко, хотя некоторые вещи и материалы Арончику вывезти не удалось. Досылкой оставшегося, как всегда в таких случаях, занимались друзья и близкие и, конечно, Мельчук, сам уже нацелившийся на отъезд. А в какой-то момент и мне, до тех пор державшемуся от отъезжанства в стороне, довелось сыграть свою роль в этой международной акции.

Весь архив Арона был уже переправлен, кроме одной, так сказать, единицы хранения, с которой дело застопорилось, — никакие из задействованных каналов ее не принимали.

— Может, ты попробуешь, — сказал мне Мельчук. — Ты живешь в центре, к тебе заходят иностранцы..

— Приноси, — сказал я. — А что это такое? Что-то тяжелое?

— Таблица словарных соответствий между разными языками. Рулон большой, но практически ничего не весит.

— Так в чем проблема?

— Поймешь, когда увидишь.

В следующий раз Игорь принес заветный рулон и шикарно развернул его на полу, приперев по углам книгами. Огромный лист, метра два на три, был сверху донизу покрыт столбцами фонетических значков, взятых то в круглые, то в квадратные скобки и соединенных сложной паутиной стрелок, на которых, в свою очередь

были надписаны какие-то пояснения и уравнения. Как если бы этой подозрительной писанины было недостаточно, обратная сторона представляла собой политическую карту Советского Союза.

— Что он, с ума сошел — писать такое на карте?! — вырвалось у меня.

— Понимаешь, Арончик нигде не мог достать большого листа, а карт в магазинах навалом. К тому же, он начал эту таблицу, когда об отъездах ни слуху ни духу не было. Здесь годы работы.

— Да-да, и если вдуматься, ностратика и географическая карта буквально созданы друг для друга.

С этого дня каждому приходившему ко мне иностранцу я сначала читал небольшую лекцию о ностратике, заслугах Долгопольского и антиссионистских настроениях советских таможенников, а затем выносил аронов свиток. При виде шифрованной карты одни смущенно мялись, другие соглашались, но справедливо указывали на возможность конфискации. Я начал отчаиваться, когда на моем горизонте возник голландский профессор Ян Мейер (ныне покойный).

Мы не были знакомы, но как-то весной он позвонил, представился, похвалил одну из моих статей, был приглашен в гости и пришел, настояв на необычно раннем часе, что-то вроде пяти или шести вечера. Он оказался высоким, седым, краснотлицым, очень симпатичным дядькой в черном костюме. Мы ели, пили, говорили о русской лите-

ратуре (он преподавал в Утрехте, а жил, как я убедился, приехав через два года в Голландию, в Амстердаме), о только что вышедшей «Неоконченной пьесе для механического пианино» Никиты Михалкова (значит, год был 1976-й), об эмиграции, о том о сем. Среди прочего, Мейер сказал, что приехал с правительственной делегацией, в качестве эксперта по России при возглавляющем ее министре, — воспользовался удобным случаем, чтобы повидать русских коллег за государственный счет.

Случай оказался удобным и мне.

— Так вы, что же, V.I.P. (Very Important Person)?

— Да, очень важная персона — в ранге члена правительства.

— Таможенного досмотра не проходите?

— Не прохожу.

— А вот эту карту возьмете? — Курс ностратики я свел к минимуму.

— Возьму.

Подогретая застольем, а теперь и овеванная сквозняками международного шпионажа, наша внезапная дружба перешла в новую фазу. Но вскоре гость стал посматривать на часы и на дверь. Таня встревожилась, отказываясь отпустить его без второго и сладкого. Тогда он сознался, что зван еще в один научный дом, почему и пришел к нам так рано, — честно говоря, на обед не рассчитывая. К кому он шел после нас, он, однако, выдавать не хотел, говоря, что, как ему объяснили, в Москве все семиотики переругались, так что никому

нельзя называть никаких имен. Он явно оправдывал свой статус новоиспеченного дипломата и еще более новоявленного тайного курьера — молчал, как партизан на допросе. Впрочем, это давало и мне кое-какие шансы.

— Что же это получается? — сказал я. — На такое дело вместе идем, а вы мне в пустяках не доверяете.

Мейер раскололся — он шел к Боре Успенскому, с которым я в ссоре как раз не был. Я позвонил Боре и сказал, что его гость у нас и задерживается. Мы еще долго выпивали за науку, за свободу слова и передвижения и за будущие встречи. Потом поймали ему такси, и с картой подмышкой он отправился на следующую явку.

Через какое-то время до нас дошла весть о прибытии заветного свитка в землю обетованную.

О новом

Когда я всерьез засобирался в эмиграцию (1978 г.), один старший коллега, В., блестящий человек, много сделавший для становления «новых методов» в лингвистике, спросил меня о мотивах отъезда. Минувя очевидные, я стал напирать на интерес к новому — в себе и в окружающем мире — и некоторое время развивал эту тему. Реакция В. поразила меня не только обычной для него чеканностью, но и неожиданной откровенностью.

— Из вашей аргументации явствует, что «новое» у вас ассоциируется с «хорошим»?